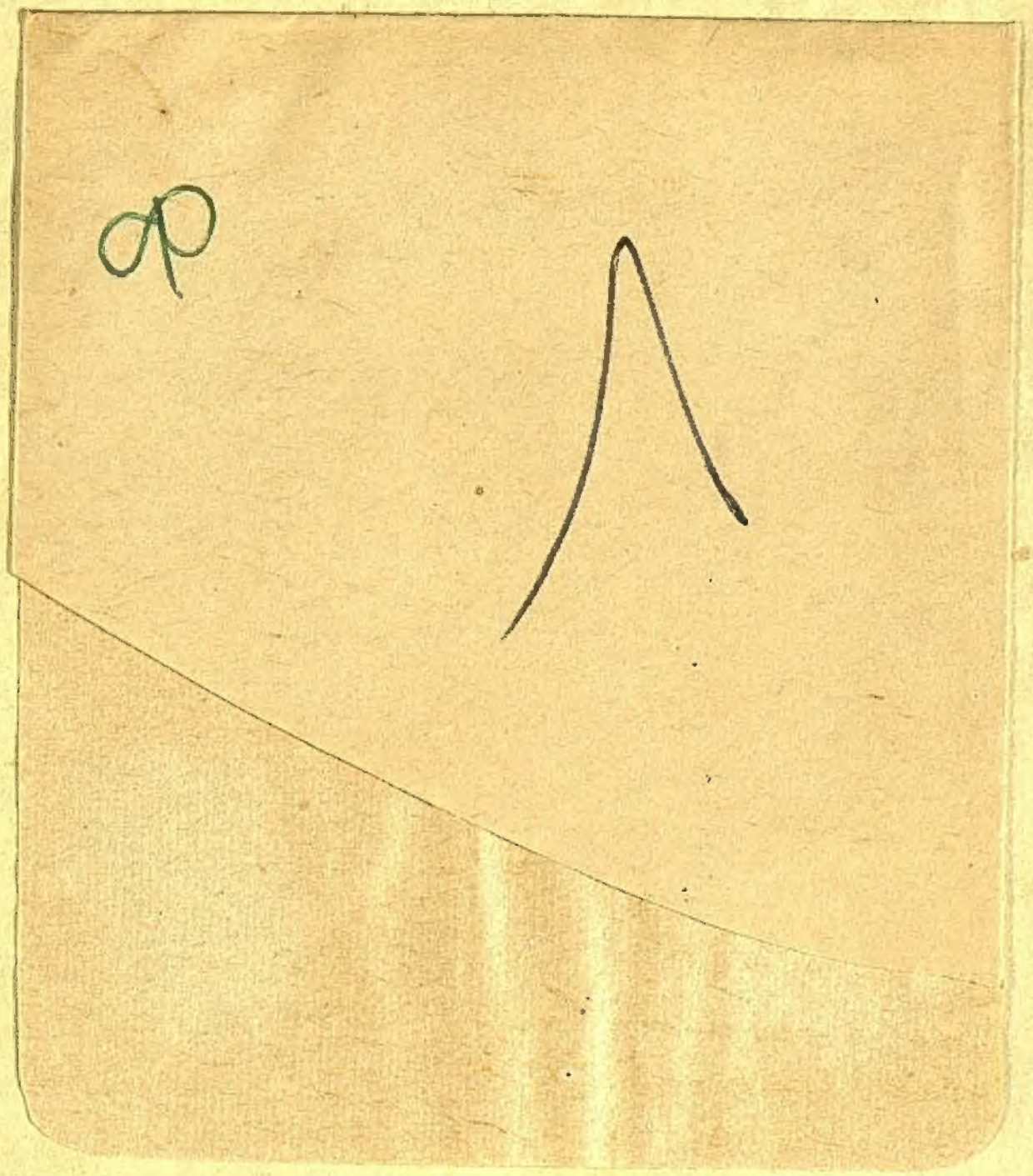
Б-8
Л-73
42667



Б-8
П-73

БИБЛИОТЕКА

Г[illegible] ной

Инв. № 42667

А. Е. ПРЕСНЯКОВ

АПОГЕЙ САМОДЕРЖАВИЯ

Николай I

БИБЛИОТЕКА
42667.

ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО БРОКГАУЗ-ЕФРОН
1925

ТИПОГРАФИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА
БРОКГАУЗ-ЕФРОН
ЛЕНИНГРАД, ПРАЧЕШНЫЙ, 6.

Ленинградский Гублит № 19527. Напечатано 3000/3.

I

ВОЕННО-ДИНАСТИЧЕСКАЯ ДИКТАТУРА.

Время Николая I — эпоха крайнего самоутверждения русской самодержавной власти в ту самую пору, как во всех государствах Западной Европы монархический абсолютизм, разбитый рядом революционных потрясений, переживал свои последние кризисы. Там, на Западе, государственный строй принимал иовые конституционные формы, а Россия испытывает расцвет самодержавия в самых крайних проявлениях его фактического властвования и принципиальной идеологии. Во главе русского государства стоит цельная фигура Николая I, цельная в своем мировоззрении, в своем выдержанном, последовательном поведении. Нет сложности в этом мировоззрении, нет колебаний в этой прямолинейности. Все сведено к немногим основным представлениям о власти и государстве, об их назначении и задачах, к представлениям, которые казались простыми и отчетливыми, как параграфы воинского устава, а скреплены были идеей долга, понятой, в духе воинской дисциплины, как выполнение принятого извне обязательства.

В течение всей жизни, не только в официальных заявлениях начала царствования, но и позднее, даже в личных письмах, Николай повторял, при случае, что императорская власть свалилась на него неожиданно, будто он не знал заранее, как порешен вопрос о престолонаследии между старшими братьями. Получается впечатление, что он частым повторением этой легенды, которую сам же счел нужным пустить в оборот, хоть она и не соответствовала действительности, довел себя до того, что почти ей поверил. Он хотел считать ее верной по существу: она хорошо выражала его отношение к власти, как к врученному ему судьбой „залогу", который он должен хранить, беречь, укреплять и передать в целости сыну-преемнику. Далекий от той напряженной работы мысли, которая заставляла Екатерину подыскивать теоретические оправдания этой власти, а брата Александра искать ее согласования с современными политическими идеями и потребностями, он держится за нее, как за самодовлеющую ценность, которая вовсе и не нуждается в каком-либо оправдании или пояснении. Самодержавие для него — незыблемый догмат. Это вековое наследство воспринималось им, однако, в иной, конечно, культурно-исторической оболочке и на иной идеологической основе, чем те, с какими оно появлялось в стародавней Московской Руси, средневековой родине этого политического строя. Традиции самодержавия, в которых воспитан Николай, особенно ярко характеризуются двумя чертами, выработанными заново

в русской правящей среде конца 18-го века, — укреплением его династической основы и развитием его военно-армейского типа.

Русская императорская династия сложилась только во времена Павла I; династию эту в Германии называли Голштейн-готторпской, но она титуловала себя „домом Романовых“, больше по национально-политической, чем по кровной связи со старым царствовавшим родом, подобно австрийским Габсбургам, которые также только по женской линии происходили от своих „предков“. Династическое право „царствующего дома“, еле намечавшееся при первых Романовых, не могло установиться в 18 веке, когда верховная власть оказалась в полном подчинении у господствовавшего дворянского класса, а престолом распоряжался его высший слой руками гвардейских воинских частей. К концу 18-го века определилось и окрепло положение России в международном обороте Европы. Внутри страны обострялись противоречия ее экономического быта и общественного строя, назревала потребность в их обновлении для высвобождения производительных сил страны из тяжких пут „старого порядка“. А жуткие потрясения пугачевщины породили в настроениях господствующего класса тягу к усилению центральной власти ради укрепления сложившегося „порядка“ и подавления грозных порывов социальной борьбы. Обе эти тенденции, друг другу противоположные, создавали благоприятную обстановку для самоутверждения верховной государственной власти, как вершительницы судеб страны.

На рубеже 18 и 19-го столетий эта власть организуется заново в административной реформе, усилившей централизацию управления, и в „основном“ законодательстве, цель которого — утвердить государственно-правовое положение монархии и династии. Такую задачу разрешил Павел в узаконениях 1797 г. „Общим актом“ о престолонаследии и „учреждением“ об императорской фамилии он создал новое династическое право. Притом, оба эти акта объявлены „фундаментальными законами империи“.

Преемник ряда случайных фигур на императорском престоле, а сам — отец многочисленного семейства (4 сына и 5 дочерей), Павел чувствовал себя настоящим родоначальником династии. „Умножение фамилии“, в которой утвердится правильное наследие престола, он ставит, с большим самодовольством, на первое место среди „твердых оснований“ каждой монархии и считает необходимым, как „начальник фамилии“, определить, наряду с „утверждением непрерывных правил в наследии престола“, положение всей „фамилии“ в государстве и внутренний ее распорядок. В этом законодательстве Павла, построенном по образцу „домашних узаконений“ (Hausgesetze) немецких владетельных фамилий, императорская династия впервые получила свое определение. Весь ее состав — и мужской и женский — во всех его линиях и разветвлениях потомства объединен возможным, предположительно, правом на престол по порядку, предусмотренному с крайней подробностью уже не „домашним“, а „фундамен-

тальным“ законом империи. Вся „фамилия“ резко выделена из гражданского общества. „Императорская фамилия“, „царствующий дом“ с той поры — особая организация, все члены которой занимают совершенно исключительное положение вне общих условий и публичного и гражданского права. Это выделение династии еще усилено дополнением, какое сделал Александр I в 1820 году, по случаю женитьбы его брата Константина на гр. Иоанне Грудзинской (кн. Лович): династия может пополняться только путем браков ее членов с лицами, принадлежащими также к какому-нибудь владетельному роду; в противном же случае этот брак, гражданский законный, является политически незаконным, т.-е. не сообщает ни лицу, с которым вступил в брак член императорской фамилии, ни их детям никаких династических прав и преимуществ.

Эти законодательные постановления отражали ряд бытовых явлений. „Фамилия“ жила своей особой жизнью, в узкой и замкнутой придворной и правящей среде, оторванная и отгороженная множеством условностей от русской общественной жизни и вообще от живой русской действительности. Особый склад получили внутренний быт, воззрения и традиции этой семьи, полу-русской не только по происхождению, но и по родственным связям. Двор родителей Николая был в бытовом отношении под сильным немецким влиянием, благодаря вюртембергскому родству императрицы, голштинскому наследству и прусским симпатиям Павла.

Известно значение „прусской дружбы“ во всей жизни и деятельности Александра. Родственные чувства и отношения царской семьи охватывали, кроме русских ее членов, многочисленную родню прусскую, вюртембергскую, мекленбургскую, саксен-веймарнскую, баденскую и т. д. и т. д., связи с которой создавали новую опору европейскому значению русской императорской власти и переплетались с ее международной политикой. Фамильно-владельческие понятия немецких княжеских домов сильно повлияли на русские династические воззрения. Николай вырос в этой атмосфере, она была ему своя и родная. Эти связи углубились и окрепли с его женитьбой в 1817 г. на дочери Фридриха-Вильгельма III Шарлотте, по русскому имени Александре Федоровне. Тесть стал ему за отца. Родного отца он, родившийся в 1796 г., почти не знал; к брату-императору, старшему его на 18 лет, относился с чувством скорее сыновним, чем братским, но близок к нему никогда не был. Воспитание младших Павловичей было всецело предоставлено матери, Марии Федоровне. Благоговейно усвоил Николай политические заветы Александра эпохи священного союза, но без той интернационально-мистической подкладки и тех мнимо-либеральных утопий, каким Александр их усложнял. Николай усвоил и принял только то из этих заветов, в чем сходились Александр с Фридрихом-Вильгельмом, которого память он чтил всю жизнь и которого в письмах к его сыну и преемнику, любимому брату императрицы, Фридриху-Вильгельму IV, называл не

тестем, а отцом. Прусский патриархальный монархизм в соединении с образцовой воинской дисциплиной и религиозно-нравственными устоями в идее служебного долга и преданности традиционному строю отношений — прельщали его, как основы тех „принципов авторитета“, которые надо бы (так он мечтал) восстановить в забывающей их Европе. Их он разумеет, когда ссылается на дорогие ему заветы „отца“ — Фридриха — и брата Александра, которых он только верный хранитель. В русскую придворную среду и вообще в петербургское „высшее“ общество входит, с этих пор, все усиливаясь, немецкий элемент. Роль Ливенов и Адлербергов началась с того, что их родоначальницам (в составе „русской“ аристократии) поручено было первоначальное воспитание младших Павловичей. Среда остзейского дворянства — с ее аристократическими и монархическими традициями — стала особенно близкой царской семье в тревожный период колебания всего политического европейского мира. „Русские дворяне служат государству, немецкие — нам“, говаривал Николай позднее, вскрывая с редкой откровенностью особый мотив своего благоволения к остзейским немцам. Курляндец Ламсдорф, бывший директор кадетского корпуса, стал воспитателем младших Павловичей, когда они подросли; жесткая грубость приемов кадетской педагогики привила Николаю не мало усвоенных им навыков, для которых был, впрочем, и другой мощный питомник в его военном воспитании.

Монархическая власть милитаризуется повсеместно к началу 19-го века, кроме Англии. Особенно сильно и ярко — в Пруссии и в России. Прусская военщина водворилась в быт русской армии при Петре III, заново — и в самых крайних формах — при Павле. В придворной и правительственной среде вельмож 18-го века сменили люди в военных мундирах и с военной выправкой; в дворцовом быту все глубже укоренялись формы плац-парадного стиля; во все отношения правящей власти проникают начала военной команды и воинской дисциплины. Властная повелительность и безмолвное повиновение, резкие окрики и суровые выговоры, дисциплинарные взыскания и жестокие кары — таковы основные приемы управления, чередуемые с системой наград за отличия, поощряющих проявлений „высочайшего“ благоволения и милости. Служба и верность „своему государю“ воплощают исполнение гражданского долга и заменяют его при подавлении всякой самостоятельной общественной деятельности: „гатчинская дисциплина“, созданная Павлом и разработанная Аракчеевым, породила традицию далеко не в одной армейской области.

Школа воинской выправки многое выработала и определила в характере и воззрениях Николая. Есть известия, что императрица-мать пыталась ограничить военные увлечения сыновей. Но успеха она не имела и иметь не могла. Слишком глубоко пустила эта военщина корни. На мучительных для войск тонкостях вахтпарада Александр отдыхал от тонкостей своей политики и сложности своих без-

надежных политических опытов. Николай стал артистом воинского артикула, хотя и уступал пальму первенства брату Михаилу. Вышколенная в сложнейших искусственных приемах, дисциплинированная в стройности массовых движений, механически покорная команде, армия давала им ряд увлекательных впечатлений картинной эффектности, о которой Николай упоминает с подлинным восторгом в письмах к жене. „Развлечения государя со своими войсками, пишет близкий ему Бенкендорф, по собственному его сознанию — единственное и истинное для него наслаждение". Никакие другие переживания не давали ему такого полного удовлетворения, такой ясной уверенности в своей мощи, в торжестве „порядка" над сложными противоречиями и буйной самочинностью человеческой жизни и натуры.

„Солдатство, в котором вас укоряли, было только данью политике", писал Николаю декабрист из каземата крепости. Слово „только" тут дань условиям, в каких письмо писано, но политика была в солдатстве Николая, как не мало было и солдатства в его политике. Оба элемента его воззрений и деятельности переплетались, сростаясь в органическое целое. Армия, мощная и покорная сила в руках императора — важнейшая опора силы правительства и, в то же время, лучшая школа надежных исполнителей державной воли императора. Смотры и парады, воинские празднества, которым с таким увлечением отдавался Николай, не только „истинное наслаждение", но и внушительная демонстрация этой силы

перед своими и чужими, а, быть может, всего более, перед самим собой.

Не только фронтовую службу изучал Николай с большим увлечением и успехом. Он получил вообще солидное военное образование. Знающим и даровитым преподавателям и собственному живому интересу он обязан основательным ознакомлением с военно-инженерным искусством и с приемами стратегии. Эту последнюю он изучал практически на разборе важнейших военных кампаний, в частности, войн 1814 и 1815 года, и стратегических задач, например, таких, как план войны против соединенных сил Пруссии и Польши или против Турции, для изгнания турок из Европы. Во время войн своего царствования он лично руководил составлением планов военных действий и часто повелительно навязывал полководцам свои директивы. А строительное дело, притом не только военное, осталось одним из его любимых занятий: он не мало проводил времени за рассмотрением строительных проектов, вносил в них свои изменения, лично их утверждал, следил за их выполнением. Зато он скучал на занятиях юридическими и политическими науками; преподаватели, хоть и выдающиеся по глубине мысли и знаний, но плохие педагоги — Балугьянский и Шторх — сумели только укрепить в нем отвращение к „отвлеченностям“, что, впрочем, соответствовало его натуре и умоначертанию. Понятие „права“ осталось чуждым мировоззрению Николая; юридические нормы для него — только законы, как

повеления власти, а повиновение им основано на благонамеренности подданных, воспитанных в благочестивом смирении перед высоким авторитетом. „Лучшая теория права, говорил он, — добрая нравственность, и она должна быть в сердце независимой от этих отвлеченностей и иметь своим основанием религию". Лучше, чем теория „естественного права", которую ему внушал проф. Кукольник, подошли Николаю реакционно-романтические веяния немецкой политической литературы, столь ценимые в родственном ему Берлине. Отражением этих веяний была своеобразная доктрина, какую в 1848 г. изложил Я. И. Ростовцев в „Наставлении для образования воспитанников военно-учебных заведений". Тут государственная власть получает значение высшего авторитета во всех общественных отношениях: верховная власть есть „совесть общественная", она для деятельности человека должна иметь то же значение, что его личная совесть для его внутренних побуждений; „закон совести, закон нравственный обязателен человеку, как правило для его частной воли; закон верховной власти, закон положительный, обязателен ему, как правило для его общественных отношений". Воля людей, составляющих общество, есть, по этой теории, элемент анархический, так как „в общежитии неизбежна борьба различных волей", а потому, „чтобы охранить общество от разрушения и утвердить в нем порядок нравственный", необходимо господство другой силы — верховной власти; она создает основания

„общественной совести“ своими узаконениями, задача которых — подавить борьбу различных стремлений и интересов, лиц и общественных групп во имя „порядка“, квалифицируемого, как „нравственный“. Твердую опору этому „закону верховной власти“ должно дать церковно-религиозное воспитание юношества в „неограниченной преданности“ воле отца небесного, и в „покорности земной власти, как данной свыше“. У Николаевского политического консерватизма была своя, достаточно цельная, психологическая и педагогическая теория. В них моральная опора всевластия правительства, как источника и общественного порядка, и нравственности, и культуры: вне государственного порядка — только хаос отдельных личностей.

Эта упрощенная и характерная для своего времени философия жизни была и личным мировоззрением Николая. „Здесь — говорил он, объясняя мотивы своего преклонения перед прусской армией, — порядок, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, все вытекает одно из другого, никто не приказывает, прежде чем сам не научится повиноваться; никто без законного основания не становится впереди другого; все подчиняется одной определенной цели, все имеет свое назначение: потому-то мне так хорошо среди этих людей и потому я всегда буду держать в почете звание солдата. Я смотрю на всю человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит“.

II

КАЗЕННЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ.

Царствование Николая I — золотой век русского национализма. Россия и Европа сознательно противопоставлялись друг другу, как два различные культурно-исторических мира, принципиально разные по основам их политического, религиозного, национального быта и характера. В годы Александра I могло казаться, что процесс „европеизации“ России доходит до крайних своих пределов. Разработка проектов политического преобразования империи как бы подготовляла переход русского государственного строя к европейским формам буржуазного государства; эпоха конгрессов вводила Россию органической частью в „европейский концерт“ международных связей, а ее внешнюю политику — в рамки общеевропейской политической системы; конституционное Царство Польское становилось, в намерениях русского властителя, образцом общего переустройства империи, и не столько форпостом, ограничивавшим Россию от Запада, сколько широким мостом их связи: даже в экономическом отно-

шении соглашение держав о мерах к облегчению условий обмена между частями поделенной польской территории получило расширенное толкование и привело в 1818 году к такому прорыву системы запретительно-покровительственных пошлин, который вызвал острую тревогу за судьбы молодой русской промышленности; наконец, церковно-административная и религиозно-просветительная политика в духе общеевропейской реакции в эпоху священного союза вела к своеобразной нивелировке „самобытных“ черт русской жизни и в этой области.

Настойчивая реакция против всех этих тенденций Александровской эпохи объединяла различные интересы и тенденции русской общественности. Вся политика Александра I, и внутренняя, и внешняя, встречалась с резкой и раздраженной критикой, с неумолкавшей оппозицией, которая отражала интересы и требования разных общественных групп, но объединялась одною чертою: национально-патриотическим настроением, враждебным „императору Европы“, как его называли. Голос консервативных элементов этой оппозиции прозвучал всего громче в записке Карамзина „о древней и новой России“. Карамзин одинаково враждебен и конституционным опытам и министерски-бюрократическому управлению; он отстаивает старое русское самодержавие. „У нас — не Англия, мы столько веков видели судью в монархе и добрую волю его признавали вышним уставом... В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит и любовь

первых приобретает страхом последних... В монархе российском соединяются все власти, наше правление есть отеческое, патриархальное". „Самодержавие есть палладиум России". Министры, поскольку они нужны, „долженствуют быть единственно секретарями государя по разным делам". Не в чиновничестве должен император искать опоры своей власти, а в дворянстве, родовом, постоянном, не том мнимом, подвижном, которое приобретается по производству в чины; в руках этого дворянства должны быть должности по управлению. Дворянство и духовенство, сенат и синод, как хранилища традиций, а над ними государь-законодатель, источник всякой власти: „вот основание Российской монархии". Идеал Карамзина — дворянская монархия 18-го века; она для него национальная святыня. Самодержавная власть — сила охранительная для дворянского государства. Государь должен быть главою дворянства, в нем и только в нем видеть опору своего престола. Письмо, которое Александр получил по заключении ненавистного дворянству Тильзитского мира и которое, повидимому, следует приписать тому же Карамзину, выразило то же воззрение не менее отчетливо: единение с дворянством одно разрешит задачи, поставленные реформами первых лет царствования — единство в управлении и замену произвола законностью; „в сей-то взаимной доверенности государя к дворянству и дворянства к своему государю вы найдете способы дать нам правление сосредоточенное и совокупное, которого члены были бы оживлены

Правительственной

тем же духом и труды бы их устремлены к одной цели", читаем тут с одобрением (весьма лукавым) государю, который начал правление с того, что „самого себя подчинил спасительной власти законов" и восстановил нарушенные права „первых столбов престола" (дворянства и хранителя его прав сената), а себя окружил „правителями, назначенными всеобщим движением", т.-е. общественным мнением того же дворянства. Так и должен действовать правитель. Если он хочет быть национальным и популярным, пусть изгонит „силу иноплеменников" и проникнется „неограниченной доверенностью к собственной своей нации", пусть рассчитывает только на „настоящих россиян"; только тогда правительство станет сильным, и достигнет того „единства намерений в плане и той счастливой согласности в подробностях исполнения, без которой величайшие гении не могут ничего выгодного предпринять для спасения государства".

За этими воззрениями стояли, преимущественно, интересы высшего дворянского слоя, вельможного и крупно-землевладельческого, мечтавшего об утверждении „на вечные времена и непоколебимо" своих социальных привилегий и политических отношений Российской империи 18-го века. Но политика Александра вызвала в том же дворянском обществе, в других его слоях, оппозицию иного рода, сложившуюся в последние годы его царствования и завершенную в движении декабристов. Эта оппозиция была менее цельной, более сложной по мотивам и

тенденциям и стала колыбелью ряда общественных течений, далеко разошедшихся в позднейшем развитии. Но во всех программных вариантах этого движения общей основной чертой было стремление к обновлению русской жизни, к ее преобразованию на новых началах гражданской свободы для масс и политического влияния для средних общественных слоев, к широкому развитию промышленности, торговли и просвещения, словом, к основам западноевропейского буржуазного строя, а другой столь же общей их чертой было национально-патриотическое настроение в противовес александровскому космополитизму. Движение, которое можно бы назвать национал-либеральным, порывало с традициями старого феодального дворянства и с самодержавием.

Развилось оно, преимущественно, в дворянской помещичьей среде и притом в офицерских кругах, где сосредоточены были наиболее интеллигентные элементы русского общества тех времен. Оно шло к захвату власти путем военного переворота, избегая массового революционного движения, и заключилось драматическим эпизодом 14 декабря 1825 года на Сенатской площади. Влияние обоих этих общественных течений александровской эпохи на Николая было весьма сильно. Он встретился с ними лицом к лицу: с первым — в крутом повороте правительственной деятельности от прежних путей за последние годы александровского царствования, со вторым — в драматичной обстановке своего вступления на престол.

При жизни брата Николай стоял в стороне от активной политической жизни; он только командовал гвардейской дивизией и управлял военно-инженерной частью. Вращаясь в военно-служебной и придворно-служилой среде, в так наз. „высшем“ обществе, Николай хорошо его знал со всей его пустотой и распущенностью, дрязгами и интригами. Он находил потом, что время, затраченное на толкотню в дворцовых передних и секретарских-дежурных комнатах, не было потеряно: оно послужило „драгоценной практикой для познания людей и лиц“, и он тут „многое видел, многое понял, многих узнал — и в редком ошибся“. В салонах этой среды творилось то, что тогда в Петербурге считалось общественным мнением; это было мнение высшего дворянства и бюрократии, — и Николай знал ему цену. К этому обществу у него было не больше симпатии и уважения, чем у Павла или Александра. Дворянство для него, прежде всего, — служилая среда, которую он стремится дисциплинировать и удержать в положении покорного орудия власти. В моменты, трудные для власти и опасные для ее носителя, — официальные акты и личные речи Николая звучали по-карамзински, обращались к дворянству, как „ограде престола“, говорили о правительстве, как оплоте его интересов. Он умеет, при случае, назвать себя „первым дворянином“ и причислиться к „петербургским землевладельцам“. Но он слишком „командир“, чтобы выдерживать такой тон в отношении к высшему классу, и слиш-

ком остры противоречия русской жизни в эпоху разложения крепостного хозяйства и роста торгово-промышленных интересов страны, чтобы Николай мог твердо стоять в положении „дворянского царя“. Само дворянское общество, переживавшее сложный внутренний кризис, не давало правительству достаточной уверенности в нем, как в силе консервативной, как в опоре установившегося в империи порядка. Командуя гвардейскими частями (бригадой, затем дивизией), Николай был крайне недоволен „распущенным, испорченным до крайности“ порядком службы и настроением гвардии, вернувшейся из заграничного похода. „Подчиненность исчезла, пишет он в своих заметках по поводу события 14-го декабря, и сохранялась только во фронте; уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была — одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы поневоле“. Быть может задним числом, но Николай отмечает, что он почуял, как за этим „крылось что-то важное“, что „дерзкие говоруны“, разрушавшие дисциплину — эту школу политической благонадежности, „составляли как бы цепь через все полки и в обществе имели покровителей“. На такие впечатления Николай откликнулся сугубой муштровкой, тем усиленным „солдатством“, в котором Александр Бестужев уловил „дань политике“. Впечатление от декабрьских событий 1825 года было для Николая тем сильнее, что заговор и восстание возникли в военной среде, которая дала лишь скон-

центрированное выражение настроению, широко разлитому в общественной массе. Розыски и расправа по делу декабристов стали первым правительственным актом императора Николая. Он вошел лично во все детали, сам разыграл роль ловкого допросчика и тюремщика, который умеет то жестоким запугиванием, то притворным великодушием развязывать языки; во всем руководил следственной комиссией, сам рассудил через подставной „верховный уголовный суд“ и осудил подсказанным суду приговором, заранее наметив некоторое его изменение при своем утверждении. 14 декабря глубоко врезалось в его память. С этим днем он связал свое вступление на престол, в его годовщину отпраздновал 25-летие своего царствования, а поминал его ежегодно и в беседах с окружающими и в письмах: „какая годовщина!“ На всю жизнь остался он и тюремщиком декабристов: следил за каждым их движением в далекой ссылке, получал донесения о подробностях их быта, решал лично — и всегда сурово — вопросы, касавшиеся судьбы их самих и их семей. „Друзья-декабристы“ вспоминались ему при каждом тревожившем его проявлении критики и оппозиции. И в этой остроте впечатлений от первой встречи с политической деятельностью крылось нечто более существенное, чем простая нервная память об испытанной опасности и пережитой тревоге. Николай вслушивался и вчитывался в показания декабристов, вникал в столь ему чуждый строй мысли и чувства и всматривался в раскрытую тут картину

русской жизни, ее противоречий и недостатков. Правителю дел следственной комиссии поручено было составить сводку суждениям о различных сторонах положения дел в государстве, какие декабристы высказывали в своих показаниях и которыми они поясняли общее недовольство, вызвавшее их на попытку переворота. Записка этого чиновника кончалась поучительным выводом, сколько трудных задач предстоит новому правительству разрешить: „надобно даровать ясные положительные законы, водворить правосудие учреждением кратчайшего судопроизводства, возвысить нравственное образование духовенства, подкрепить дворянство, упавшее и совершенно раззоренное займами в кредитных учреждениях, воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами, направить просвещение юношества сообразно каждому состоянию, улучшить положение земледельцев, уничтожить унизительную продажу людей, воскресить флот, поощрить частных людей к мореплаванию, словом, — исправить неисчислимые беспорядки и злоупотребления“. Перо, излагавшее вины „преступников“, составило, по повелению той же власти и словами декабристов, характеристику положения государства, до такой степени расшатанного „неисчислимыми беспорядками и злоупотреблениями“, что не остается иного выхода, кроме коренного изменения всей правительственной системы, а стало быть, и основ государственного строя.

Сами декабристы в своих письмах-завещаниях Николаю как бы передавали ему в руки свое недо-

деланное дело. По свидетельству Кочубея (председателя государственного совета) сводка их замечаний и суждений была постоянно под рукой у Николая и он часто ее просматривал, а копии с нее дал Кочубею и цесаревичу Константину. „Друзья-декабристы“ вдвойне отравили сознание самодержца: опасливым недоверием к обществу, которое казалось готовым взяться за революционные средства против власти, тормозящей рост русской жизни, и пониманием, что „всеобщего недовольства“, о котором так много тревожных толков, нельзя свести к идейным „заблуждениям“, что для него имеются объективные основания в запросах этой жизни, перерастающей сковавшие ее формы социально-политического строя.

Один из иностранных наблюдателей тогдашней петербургской жизни отметил, как повод к особой тревоге правительства, что настойчивая мысль о необходимости преобразований, о том, что опасно пребывать в неподвижности, а необходимо, хотя бы с умеренной постепенностью, „итти за веком“ и готовиться к „более решительным переменам“, проникла в сознание „людей самых благоразумных“.

Краткий, но выразительный вывод из всех этих сложных впечатлений сделан был в манифесте, который обнародован Николаем по завершении расправы над декабристами. Восстание вскрыло „тайну зла долголетнего“, его подавление „очистило отечество от следствий заразы, столько лет среди его таившейся“. Эта „зараза“ пришла с Запада, как

нечто чужое, наносное: „не в свойствах, не в нравах русских был сей умысел“, но тщетны будут все усилия к прочному искоренению зла без единодушной поддержки всего общества. Николай призывает все сословия соединиться в доверии к правительству, но особо напоминает дворянству его значение, „ограды престола“ и сословия, которому раскрыты все пути военной и гражданской службы; оно особенно должно поддержать „непоколебимость порядка, безопасность и собственность его охраняющего“, и насаждать „отечественное, природное, не чужеземное воспитание“. А потребность в преобразованиях получит удовлетворение „не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных“, а путем постепенных усовершенствований существующего порядка мерами правительства. Общество может этому помочь, выражая перед властью, путем законным, „всякое скромное желание к лучшему, всякую мысль к утверждению силы законов, к расширению истинного просвещения и промышленности“, что будет принимаемо „с благоволением“.

Так все общественные классы должны склониться в полном доверии перед императорской властью и содействовать, по мере сил, не за страх только, а за совесть, осуществлению ее национально-консервативной программы. Эта программа взяла верх над иными течениями еще в последние годы александровского царствования, когда, с одной стороны, покинуты либеральные мечтания, а с другой, поднято национальное знамя в вопросах о внешней и

внутренней политики. Еще Александр порвал, в последние два-три года своей жизни и царствования, с проектами реформы политического строя империи, круто изменил свое отношение к Польше, отверг зависимость русской политики на Ближнем Востоке от тенденций священного союза, вернулся к охранительному таможенному тарифу, отступился от внеисповедной точки зрения в вопросах церковного управления и народного просвещения в пользу православно-церковной реакции. Программой николаевского царствования стали заветы последних лет Александра.

III

ПРОТИВОРЕЧИЯ НИКОЛАЕВСКОЙ ЭПОХИ.

Тридцатилетие, когда власть находилась в руках Николая I,— эпоха резких противоречий в русской жизни. Старый, веками сложившийся строй государственных и общественных отношений господствует в ней еще всецело. А жизнь страны — экономическая, гражданская, духовная — бьется в этих старых рамках, которые становились ей все более тесными. Это время — золотой век великой русской литературы, эпоха первого расцвета русской общественной мысли и молодой самостоятельной русской науки, русского театра и русского искусства — при крайней подавленности русской общественности и народной жизни в условиях крепостного быта и сурового правительственного режима. В народном хозяйстве — решительный подъем торгового и промышленного предпринимательства, при господстве в корень устарелых и разлагающихся форм крепостного хозяйства. В международных отношениях — значительный рост участия России в мировом торговом обороте и ее влияния на общеевропейские

политические дела, при резком отчуждении ее от западно-европейского мира, как ей чуждого, опасного и враждебного. Николай вышел на историческую сцену в период перелома всего европейского мира от „старого порядка“ к новым формам организации национальной жизни в ее материальных основах и социально-политических отношениях. Процессы, творившие этот перелом, все глубже захватывали Россию, заставляя ее переживать глубокий внутренний кризис, тем более тяжелый, что он был более, чем где-либо, придавлен громоздкой тяжестью традиционных форм ее политического и социального строя.

Общее состояние народного хозяйства предвещало близкое падение крепостного строя. Доходность помещичьих имений несомненно падала; быстро нарастала их задолженность. Комитет министров завален ходатайствами о льготах и рассрочках по дворянским займам, а местная администрация и министерство финансов беспомощно сетуют на крайний рост недоимок по взносу платежей с помещичьих крестьян. Крепостное хозяйство оказывалось все более невыгодным — и фактически разлагалось в новых условиях экономического быта. Но его косные формы держались еще крепко и тормозили всякие попытки найти выход в более рациональном интенсивном хозяйстве с расширением производства и сбыта на рынок, либо заграничный, либо внутренний, постепенно крепнувший при оживлении промышленности. На общей массе помещи-

чьих имений этот кризис сказывался только увеличением оброка и усилением барщины, стало быть, все более напряженным давлением крепостного права на крестьянство. Вместе с тем, возрастало ожесточение крепостного населения. Борьба с массовыми побегами помещичьих крестьян в еще колонизуемые окраинные области доходила до расстановки на их путях военных кордонов; учащались случаи крестьянских волнений и бунтов, и к концу николаевской эпохи они принимают все более массовый характер, а их проявления становятся все более грозными, сопровождаются убийством помещиков и их приказчиков, поджогами и насилиями. Расшатывались самые основы старого крепостного порядка. Вырождалось и поместное дворянство. Дворянские имения мельчали и дробились. В составе провинциального дворянства сильно вырос элемент мелкопоместных, а то и вовсе беспоместных дворян, которые ни по хозяйственной обеспеченности, ни по образованию, ни по быту своему не подходили к значению „благородного“ и „правящего“ сословия. Местные дворянские общества переживали резкое оскудение, а все более зажиточное и образованное в их среде отливало в городские центры, чураясь сельской жизни и провинциальной деятельности. Уезды, отданные со времени губернской реформы Екатерины II в управление этим местным дворянским обществам, оказывались до крайности запущенными и заброшенными; так наз. „местные нужды“ — важнейшие заботы о путях сообщения, о народном

продовольствии, борьбе с эпидемиями и т. п.—оставались вовсе без удовлетворения, а средства, на них предназначенные, расходились неведомо куда, безотчетно и бесплодно.

На скудном экономически и культурно, расшатанном и расстроенном фундаменте этой местной жизни высилось огромное здание империи с ее центральными учреждениями и формально-неограниченной властью. Чем эта власть подлинно управляла? Из 52—3-х милл. населения по ревизии 30-х годов 25 милл. помещичьих крестьян были предоставлены власти своих господ; до 18 милл. государственных и удельных крестьян оставались под особым управлением, как принадлежность государственных и удельных имуществ; а из остальных 9-ти милл. надо еще исключить весь состав армии, чтобы получить приблизительное представление, чем собственно только и управляли общие административные учреждения. Сказочное ничтожество и испорченность этой администрации—естественный результат ее бессилия и убогой ограниченности ее общественного веса в среде, где господствовали 272 тысячи земле- и душевладельцев.

Подлинная картина внутреннего состояния России вырисовывается с достаточной полнотой и отчетливостью в официальных документах николаевской эпохи—в делах комитета министров, во „всеподданнейших“ отчетах министров внутренних дел и финансов и т. п. Николай знакомился с этой действительностью, получив к тому недурную подго-

товку в показаниях декабристов. Можно сказать, что перед ним постоянно вырисовывались все шире и яснее назревшие нужды страны и самой государственной власти. Одним из первых дел его, по завершении процесса декабристов, было поручение так. наз. комитету 6 декабря (1826 г.) рассмотреть все проекты реформ, намечавшихся при Александре I, и разработать предположения о неотложных преобразованиях, особенно в устройстве государственных учреждений и в положении сословий. Затем в течение всего царствования ряд „комитетов“ работал над финансовыми, экономическими, правовыми и организационными проблемами, которые настойчиво и остро ставились самою жизнью.

На дне каждого крупного затруднения, встречаемого правительственной властью в управлении страной, в основе каждого существенного вопроса о способах устранения расстройства страны, выяснялась, при изучении соответственных данных, роковая для старого порядка проблема о крепостном строе народного хозяйства и всей русской общественности. Выяснялась неразрывная связь всех сторон народно-государственной жизни с фундаментом крепостного права, выступала необходимость капитальной перестройки всего здания на новом основании. Выяснялась необходимость решительной активности правительственной власти, усиления государственного вмешательства в сложившийся строй отношений и в самую организацию местной массовой жизни. От самодержавной власти, принципиально всемогущей,

ожидали деятельного преобразовательного почина, при сознании бессилия наличных общественных групп преодолеть сопротивление консервативных элементов и взяться за дело реорганизации страны. Даже среди наиболее „левых“ элементов тогдашней интеллигенции сильны и сознание этого бессилия и рассчет на монархическую власть — в деле реформы. Так, например, Белинский, и не в период пресловутого увлечения „примирением с действительностью“, а в 1847 году и вскоре после своего „революционного“ письма к Гоголю, высказывал уверенность, что „патриархально-сонный быт весь изжит и надо взять иную дорогу“, но первого шага на этой „иной дороге“ — освобождения крестьян — ожидал от „воли государя-императора“, которая только и может разрешить великую задачу, если только не помешают ей окружающие престол „друзья своих интересов и враги общего блага“.

А „друзья своих интересов“ умело внушали своему властителю сознание связи этих интересов с его собственными, самодержавно-династическими. Внушали и положительно и отрицательно: и тем, что власть помещичья — необходимая опора власти самодержавной, и тем, что приступ к преобразованию социальных отношений неизбежно приведет к революционному потрясению. Ликвидация крепостного права казалась чреватой большими опасностями для самодержавия. Давняя мысль Карамзина, что „дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благо-

устройства", а если государь, „отняв у них сию власть блюстительную, как Атлас возьмет себе Россию на рамена", то не удержать ему такой тяготы, была крепко усвоена в правительственных кругах. Теоретик николаевской правительственной системы, гр. С. С. Уваров, м-р народного просвещения, утверждал, что „вопрос о крепостном праве тесно связан с вопросом о самодержавии и даже единодержавии: это две параллельные силы, которые развивались вместе, у того и другого одно историческое начало и законность их одинакова"; он говорил о крепостном праве: „это дерево пустило далеко корни — оно осеняет и церковь, и престол, вырвать его с корнем невозможно". Николай официально высказывал взгляд на дворянство, как на „сословие, коему преимущественно вверяется защита престола и отечества", носился, однако, с мыслью признать основой его привилегированного положения землевладение, а не владение крепостными. В попытке провести разделение этих двух вопросов Николай был под определенным влиянием остзейских порядков, где так наз. освобождение крестьян было проведено без наделения их землей в собственность и с сохранением над ними помещичьей административно-судебной власти. Последнее не соответствовало, по существу, автократическим стремлениям Николая. Бюрократизация местного управления более отвечала бы его намерениям. В таком направлении и был сделан некоторый шаг реформой 1837 года: уезды разделены на станы с

назначением становых приставов, как и уездных заседателей, губернским правлением. Но этот шаг не имел продолжения: не только выбор исправников остался за дворянством, но и приставов, и заседателей указано было назначать, преимущественно, из местных помещиков. Что до владения землей, то Николай объявил помещичью поземельную собственность „навсегда неприкосновенной в руках дворянства“, как гарантию „будущего спокойствия“. Он пытался, однако, поставить на очередь переход от крепостничества к „переходному состоянию“ в проекте положения об „обязанных“ крестьянах, по которому помещики, сохраняя право вотчинной собственности, предоставляли бы крестьянам личную свободу и определенную часть земли за повинности и оброки по особому для каждого имения инвентарю. Мера эта, по проекту, разработанному Киселевым, должна была получить общегосударственное значение, независимо от воли отдельных помещиков. Но такие предположения встретили столь раздраженную и настойчивую оппозицию в кругах высшей дворянской бюрократии, что Николай поспешил отступить. Проект нового закона был внесен в государственный совет в таком измененном виде, который лишал его всякого серьезного значения, а император снабдил его в речи совету и в пояснительном циркуляре министра внутренних дел такими оговорками, которые дали иностранному наблюдателю право назвать все это — „печальной сценой комедии“. В этой характерной речи Николай гово-

рил: „Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении, есть зло, для всех ощутительное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным“; „нынешнее положение таково, заявлял он далее, что оно не может продолжаться, но, вместе с тем, и решительные к прекращению его способы также невозможны без общего потрясения“. Эти безнадежные слова вскрывают основное положение николаевского правительства: острое опасение каких-либо „потрясений“ парализует сознание, что существующий порядок „не может продолжаться“. И закон об обязанных крестьянах потерял силу в оговорке, что его проведение в жизнь предоставлено на волю тем из помещиков, которые сами того пожелают, и в пояснении, что он устраняет „вредное начало“ александровского закона о свободных хлебопашцах — отчуждение части земли в собственность крестьян, а устанавливает сохранение вотчинной собственности за помещиками и на те земли, какие отойдут в пользование крестьян „обязанных“. В итоге — лишь новая победа дворянства над „предрассудком“ крестьян, будто при личном их закрепощении, они все-таки — подлинные владельцы земли.

Дворянство оказывалось силой, с которой приходится считаться, а не только ею повелевать. Иностранец-наблюдатель находил, что Николай, хоть он достаточно импонирует окружающим, чтобы не опасаться участи Павла I, однако, многим рискует, и малейший ложный шаг на такой скользкой почве

может его погубить; ссориться с дворянством русскому государю решительно опасно. И не только потому, что опасно слишком раздражать господствующий класс. Уступчивость самодержавной власти по отношению к дворянству, как и преданность дворянства престолу, словом, их стремление к солидарности поддерживались общим их страхом перед опасностью гневного взрыва народной массы. Этот страх заставлял задумываться над необходимостью разрядить напряженную атмосферу реформами, но он же создавал нерешительность в приступе к ним из опасения, что тронуть расшатанное здание значит вызвать его бурное крушение. Брат — цесаревич Константин — настаивал на недопустимости „коренных реформ, изменяющих взаимные отношения между сословиями", так как это поведет-де неминуемо к изменению самых основ государственного строя империи. И так многие тогда думали. Были уверены, что упразднение крепостного права поведет к упразднению самодержавия, что водворение буржуазного социального строя, на началах гражданской свободы и частной собственности масс, приведет, неизбежно, к буржуазному конституционному государству. А Николай утверждал, что понимает только политические крайности: абсолютную монархию и демократическую республику, а конституционная монархия производит на него впечатление чего-то фальшивого и двусмысленного. Сохранение же русского самодержавия в полной неприкосновенности он считал первым и главным своим долгом.

Оставалось — определить отношения между правительственной властью и дворянством. Николаевское правительство ставит себе двойную задачу: восстановить социальную силу дворянства и выработать из него орудие правительственной администрации. Первой цели должны служить мероприятия, направленные к очистке „первенствующего“ сословия от слишком измельчавших и опустившихся элементов путем их поддержки или отсечения. Правительство развивает своеобразную переселенческую политику, наделяя оскудевшие дворянские семьи казенными землями в Заволжьи и в Сибири с пособием от казны для установки хозяйства, но с другой стороны, отдает дворянских детей из семейств, безнадежно опустившихся и экономически, и культурно, в школы кантонистов, взрослых недорослей в военную службу с утратой ими привилегии дворянства. Значение дворянских обществ (губернских и уездных) правительство старается поднять тем, что повышает ценз на право участия в выборах и еще более — на право занимать должности по избранию, предоставляет им выбирать председателей судебных палат и призывает их к сугубой активности в заведывании местными делами с правом обращать к верховной власти заявления о своих сословных и вообще местных нуждах. Зато дворянство должно войти в роль послушного и трудоспособного орудия администрации. Дворянские избранники — лишь разновидность правительственного чиновничества, их служба приравнена к службе государственной. Предводители дво-

рянства — по делам целого ряда „комитетов“: дорожного, по земским повинностям, по рекрутским наборам, народному продовольствию, борьбе с эпидемиями и т. п. — становились помощниками губернских властей в местном управлении. Так называемое „дворянское самоуправление“ всецело вводится в состав бюрократических органов правительства. Правительство настойчиво поддерживает сословность общественного строя также мерами по народному просвещению; разграничивает состав учащихся по школам разных ступеней так, чтобы никто „не стремился через меру возвыситься над тем состоянием, в коем ему суждено оставаться“, предназначает среднее и, тем более, высшее образование только детям „дворян и чиновников“. Но и тут вся политика направлена к подчинению просвещения охранительным видам правительства с решительной урезкой его широты и свободного развития, ради подчинения образовательных задач школы целям политического обезвреженія общественной мысли.

Реакционные меры к восстановлению разлагавшихся основ сословной государственности были слишком искусственны для прочных и устойчивых результатов. Не могли они остановить ход эволюции, а разве только его замедлить. В рамках устарелого строя русская жизнь шла своими путями в полном противоречии с охранительными началами правительственной политики. Народное хозяйство выходило на новые пути торгово-промышленного развития. Углубляются международные экономические связи.

Русский вывоз возрос с 75 до 230 милл. рублей, ввоз — с 52 до 200. Рост заграничного торга вынуждает к пересмотру таможенных тарифов в виду конкуренции с американским сырьем на европейских рынках и для приспособления тарифных ставок к таможенному объединению с Россией Царства Польского. Крепнет и осложняется зависимость русской хозяйственной жизни от общеевропейских экономических конъюнктур. Надвигается — особенно в связи с проблемой железнодорожного строительства — вопрос о роли иностранных капиталов в развитии русского капитализма. На юге возникла значительная свеклосахарная промышленность (первый завод основан в 1802 г., к 1845 их 206), определялась экономическая физиономия средне-русского промышленного района, который все больше кормится закупкой хлеба в земледельческих губерниях. Крепостное хозяйство падает и разлагается, уменьшается даже удельный вес крепостных в общем составе населения (с 45 на $37^1/_2{}^0/_0$). Крепнут средние общественные слои. Наперекор правительственным мерам усиливается разночинный состав учащихся в гимназиях и университетах, и к концу николаевского царствования русская интеллигенция в значительной мере теряет свой сословно-дворянский характер, становится мелкобуржуазной, разночинной. Общественная жизнь явно не укладывается в рамки, усиленно поддерживаемые властью.

Не укладывается в них и политика самой этой власти. Ей приходится считаться с новыми потребно-

стями страны, поддерживать их, покровительствовать им. И лично имп. Николай отразил в своих интересах и воззрениях эти новые, окрепшие тенденции русской жизни. Он серьезно увлекался вопросами техники, технического образования, нового предпринимательства, более широкой постановкой вопросов экономической и финансовой политики. Работая с деловитым, но крайне осторожным и глубоко консервативным Канкриным, Николай бывал смелее своего министра финансов, который с преувеличенной опаской относился к проникновению в Россию иностранных капиталов (полагая, что „каждый народ должен стремиться к полной независимости от других народов“) и находил, что постройка в России железных дорог несвоевременна; он исходил из представления о России, как стране исключительно земледельческой, где надо, конечно, покровительствовать промышленности, но, преимущественно, добывающей, и то осторожно, „гомеопатическими дозами“. Оба они усердно насаждали в России высшее и среднее техническое образование. „Мы довершаем дело Петра“, хвастал сам Николай. За западной наукой командированы группы молодых ученых, так мощно обновивших затем преподавание в Московском университете, да и в других высших учебных заведениях, и создавших заново русскую научную литературу. Приемы этого насаждения были в одном отношении больше допетровские, чем петровские. Западные идеи и понятия вызывали острое недоверие и пристальное наблюдение придирчивой цензуры

не только книг, но и лекций; целые отделы знания были воспрещены для преподавания, делались попытки насильственного руководства общим его направлением в духе „видов правительства“ и казенно-патриотической доктрины. Николай хотел всю культурную работу подчинить строгой, на армейский манер, дисциплине. Порядки и формы военного строя распространены на „корпус инженеров путей сообщения“ или на „корпус лесничих“, а университетский устав 1835 года ставит задачу „сблизить наши университеты с коренными и спасительными началами русского управления“ и ввести в университетах „порядок военной службы и вообще строгое наблюдение установленных форм, чиноначалие и точность в исполнении самомалейших постановлений“. Не даром большинство государственных деятелей вышло при Николае I из военной среды, и даже церковным ведомством он управлял через своего генерал-адъютанта, бывшего до того командиром лейб-гвардии гусарского полка.

Стремление влить новое вино в старые меха, притом в такой умеренной дозе, чтобы меха не пострадали, и укрепить устарелые формы от напора нового содержания всеми силами власти — характерная черта николаевской политики. Более или менее ясное понимание, что нарастающий внутренний кризис неотложно требует творческой работы, парализовано для самодержавия свойственной ему, в такие исторические моменты, „невозможностью помочь себе, не отказываясь от своей сущности“ (по выра-

жению Е. В. Тарле). В николаевскую эпоху разлагались самые основы тех общественных отношений, на которых выросло самодержавие и с которыми оно было связано неразрывными историческими узами. Все более теряя почву под ногами, самодержавная власть пыталась использовать последние возможности устарелого строя, то реставрируя его слишком расшатанные элементы, то напрягая до крайности старые приемы властвования и управления. Шла она „за веком“ только в меру социальной и политической безвредности его новшеств. В остром недоверии к общественным силам, консервативным за их вырождение, прогрессивным за их „революционность“, хотя бы мнимую, эта власть пытается жить самодовлеющей над-общественной жизнью, доводя свое самодержавие до напряженности личной военно-полицейской диктатуры императора.

IV

БЕССИЛИЕ ВЛАСТИ.

Николай I, несомненно, затрачивал много труда и времени на дела государственного управления и стремился лично и деятельно руководить им. У него не было ни уважения, ни доверия к унаследованной от Екатерины и брата Александра системе бюрократических учреждений. Для этого он слишком хорошо знал внутреннее бессилие бюрократической машины и глубокую испорченность бюрократической среды. Недовольство плохо налаженным и уже сильно разлаженным порядком, недоверие к людям и к общественным группам — психологическая основа николаевского деспотизма. Всякая самостоятельность мысли и деятельности представлялась ему недопустимым „всезнайством и противоречием“, и вся надежда была на строгую исполнительность и беспрекословное повиновение. В министрах он видел лишь исполнителей своей воли, а не полномочных и ответственных руководителей отдельных ведомств. Широко развитая система министерских докладов „на высочайшее имя“ по самым разнообразным вопро-

сам давала императору возможность играть роль верховной власти, непосредственно распоряжающейся в стране. Он считал своей обязанностью лично разрешать все сколько-нибудь существенные дела и вопросы. Компетентность предполагалась как-то сама собой. Николай, подобно Суворову, не допускал „немогузнайства“ в делах службы, а ведь он на всю жизнь смотрел, как на службу, в том числе и на свою правительственную деятельность. Он и выработал себе большую самонадеянность и всякие вопросы решал краткими и бесповоротными повелениями. По долгу правителя он считал себя сведущим во всяких делах, „каким должен быть всякий в его положении“. Известен рассказ о том, как он обошелся с первым государственным бюджетом, какой ему представил на утверждение министр финансов. Николай отнесся к делу с большим вниманием, просмотрел все сметные предположения и собственноручно переправил ряд цифр, означавших размеры предположенных расходов; все это было сделано, конечно, на глаз, по усмотрению и минутному вдохновению. Вся постройка бюджета оказалась сбитой и спутанной. Пришлось министру выяснять монарху, что так, по-обывательски, нельзя вести государственное хозяйство, и представить на утверждение другой экземпляр сметы, свободный от трудолюбивых, но произвольных поправок. С годами Николай приобрел много сведений и навыков, многое уяснял себе, участвуя в комитетах по разным вопросам, и вырабатывал свои решения с большим вниманием.

Но решение всегда оставлял за собой, как самодержец. В существенном он лично направлял свою политику; „он действовал добросовестно по своим убеждениям: за грехи России эти убеждения были ей тяжким бременем"—записала вдумчивая современница, В. С. Аксакова, в годину его смерти. Когда возникали вопросы более сложные, особенно касавшиеся более или менее существенных преобразований, проекты передавались на обсуждение комитетам из лиц доверенных, по личному выбору императора. Он следил за ходом обсуждения, влиял на него сообщением своих мнений, но и сам все более вживался в тот дух консерватизма, в ту крайнюю сдержанность перед сколько-нибудь существенными новыми начинаниями, который всего чаще приводил к бесплодному исходу комитетских рассуждений. Если же доходило до нововведений, то намеченные мероприятия осуществлялись, обычно, в виде опыта в какой-нибудь области государства, а затем вносились в государственный совет в форме законопроектов, по существу уже одобренных государем, а то просто получали утверждение, помимо совета, резолюцией на министерском докладе. Эти резолюции на докладах, иногда подробные и мотивированные, иногда повелительно-краткие, по делам общего значения или по отдельным казусам выясняли исполнителям взгляды государя на тот или иной вопрос и указывали основания для решения впредь однородных дел. Это было своеобразное личное законодательство императора, которое носило неизбежно отры-

вочный и случайный характер. Возникая от случая к случаю, оно разменивало деятельность верховного управления на множество разрозненных распоряжений вместо общей планомерной работы. И в среде высшей бюрократии многие не одобряли такого метода работы носителя верховной власти. Николая упрекали в том, что он правит бессистемно, разбивая личным вмешательством всякую планомерность управления, и забывает, что дело государя — править, а не управлять, общее руководство, а не текущее управление. При Николае особенно ярко сказывалось то свойство самодержавия, которое осуждал еще Александр I за то, что повеления даются „более по случаям, нежели по общим государственным соображениям“, и не имеют „ни связи между собой, ни единства в намерениях, ни постоянства в действиях“. Но Николай считал управление по личной воле и личным воззрениям — прямым долгом самодержца. Вопросы общие и частные, дела государственной важности и судьбы отдельных лиц — сплошь и рядом зависели от личного усмотрения и настроения государя, который в своих резолюциях иногда руководился законными основаниями, а чаще своим личным мнением, полагая, „что лучшая теория права есть добрая нравственность“.

Самодержавный принцип личного управления государством, помимо установленных учреждений, получил особое выражение в самом строе центрального управления, благодаря первенствующему значению „собственной е. и. в-ства канцелярии“, ближайшего

органа личной императорской власти. В первый же год царствования, Николай взял в ведение своей канцелярии все дело законодательства, учредив для этого особое — „второе“ — ее отделение. Тут была выполнена вся работа по изданию „полного собрания“ и „свода“ законов; и если по мысли Сперанского этим только подготовлялась дальнейшая задача — переработка собранного и систематизированного материала в новое уложение,— то принципиальный консерватизм верховной власти остановил все дело на своде (если не считать „уложения о наказаниях“). Во „втором“ отделении велись вообще все законодательные работы и, что еще важнее, через него испрашивались и получались отступления от законов или изменения в них по разным поводам „в порядке верховного управления“. В непосредственное заведывание своей канцелярии взял Николай и высшую полицию и учредил для этого знаменитое „третье отделение“, а в связи с ним — „отдельный корпус жандармов“ с разделением всей страны на пять (а затем до восьми) жандармских округов. Далее, рядом с четвертым отделением, ведавшим так называемыми учреждениями имп. Марии, возникали для разработки отдельных крупных вопросов, как, напр., устройство быта государственных крестьян, управление Царством Польским или Кавказом, особые временные отделения „собственной“ канцелярии и комитеты при ней. Все эти „отделения“ были весьма полномочными органами „чрезвычайного“ управления, через которые верховная власть самодержца

действовала помимо нормальной системы правительственных учреждений. Из них особое значение получило, согласно всему духу охранительной и подозрительной власти, „третье“. Оно ведало „высшую полицию“, но понятие это толковалось до крайности широко. Наряду с розыском о „государственных преступниках“ (а чего только не подводили под это понятие!), в третьем отделении было сосредоточено распоряжение их судьбою в тюрьме и ссылке; сюда поступали разнообразные сведения о „подозрительных лицах“ — отнюдь не только в политическом отношении, но также уголовном и вообще полицейском; отсюда исходили против них негласные меры надзора и высылки; отсюда следили за всеми прибывающими из заграницы и выезжавшими из России; сюда поступали из всех губерний и жандармских округов периодические „ведомости“ о всевозможных происшествиях, о более ярких уголовных делах, особенно о фальшивомонетчиках, корчемниках и контрабандистах; тут внимательно следили за крестьянскими волнениями, расследовали их причины и поводы, принимали меры к их подавлению; тут все усиливалось наблюдение за поведением литературы, так как цензурное ведомство, на обязанности которого было „направлять общественное мнение согласно с настоящими политическими обстоятельствами и видами правительства“, само состояло под строгим наблюдением и руководством 3-го отделения, а с 1828 г. сюда была целиком передана театральная цензура. Идеальным требованием 3-го отделения

было, чтобы ему, а через него его главе — императору, сообщалось все сколько-нибудь значительное, с полицейской точки зрения, что происходило во всех углах империи. Средствами постоянного притока сведений были донесения жандармских округов и общей администрации. Весь этот пестрый материал докладывался Николаю и вызывал большое его внимание, а часто энергичное вмешательство. „Высочайшие“ резолюции то и дело требовали дополнительных сведений по тому или иному происшествию, посылались жандармские офицеры (Николай хорошо их знал и часто указывал, кого именно командировать) с особыми полномочиями для производства расследования на месте или принятия экстренных мер „по высочайшему повелению“.

Третье отделение и корпус жандармов стали сильным органом личного осведомления государя обо всем, что в стране происходит, его личного надзора за порядком и за поведением как администрации, так и обывателей. Николай внимательно читал доклады (так внимательно, что даже поправлял описки), вникал в донесения не только о крупных происшествиях, имевших общественное значение, но также о проделках и похождениях отдельных лиц, попавших в сферу жандармского наблюдения по самым разнообразным поводам; входил в подробности, требуя дальнейшего наблюдения и новых сведений, запросов по губерниям, справок по министерствам, выяснял провинности и самолично назначал виновным наказание, лишь изредка распоряжаясь об от-

даче их под суд. Николай держал себя опекуном порядка и попечителем доброй обывательской нравственности, карал их нарушителей административной высылкой, для которой часто сам и место выбирал (Вятку, Сольвычегодск, Каргополь и др.; для неисправимых рецидивистов — Соловки), отдачей в солдаты или в крепостные арестанты, а то и в „сумасшедший дом“. До жуткости часто применялась эта последняя кара: „сумасшедшие, сосланные для исправления в уме“, — явление обычное и стоят рядом с „государственными арестантами“.

Более сложные или тяжкие эпизоды передаются военному или уголовному суду и препровождаются судебным учреждениям с внушением: решить незамедлительно, вне очереди; или посылаются на расследование министрам юстиции и внутренних дел, местному губернатору и предводителю дворянства при участии окружного жандармского штаб-офицера. Широкой осведомленностью 3-го отделения Николай пользовался для проверки осведомленности своих министров в круге их ведомств и часто направлял их внимание на разные непорядки.

Деятельность 3-го отделения естественно вызвала обширную практику доносов и частных жалоб. Добровольных доносителей по всевозможным делам нашлось не мало. Воскресло старинное „слово и дело государево“ в форме заявлений о „важных государственных тайнах“, о которых доносители могут-де сообщить только лично государю. Николай отнюдь не пренебрегал такими заявлениями, вызы-

вал доносителей в Петербург, поручал их опрос 3-му отделению, а при их упорстве разрешал писать лично себе, назначал им денежные награды, хотя случалось иным из них за явно вздорные и шантажные доносы, за назойливость и сутяжничество попадать под арест и в ссылку и даже в сумасшедший дом. Входил император через 3-е отделение и в частные дела обывателей, разбирал их жалобы на обиды и притеснения, споры о наследстве и сложные семейные раздоры, карал детей за непочтение к родителям, отдавал отцов под опеку за мотовство семейным имуществом, содействовал взысканию долгов и т. п. Как в Петербурге Николай любил неожиданно появляться в раннее время в правительственных учреждениях для проверки, на местах ли чиновники и все ли в порядке, так он стремился через своих жандармов заглядывать по-хозяйски во все углы русского быта и держать его под опекой. Самому всюду не поспеть — заменяли доверенные слуги.

Третье отделение и корпус жандармов должны были как бы разрушить бюрократическое средостение между самодержавной властью и обывательской массой. Николай искал этим путем популярности и доверия. Новые учреждения эти выставлялись, как благодетельные для „благонамеренных“ обывателей, и рассчитывали на их поддержку. Инструкция корпусу жандармов возлагала на них обязанность выяснять и пресекать злоупотребления, защищать обывателей от притеснений и вымога-

тельств чиновничества, отыскивать и представлять к наградам „скромных вернослужащих“ и даже „поселять в заблудших стремление к добру и выводить их на путь истинный“. Жандармские офицеры должны были искать доверия всех слоев общества и внушить населению уверенность, что через них „голос всякого гражданина может дойти до царского престола“. Развертывалась широкая картина — централизованного в общегосударственном масштабе полицейского надзора, переходящего в активную опеку, активного в собирании сведений и во властном отклике даже на мелкие житейские происшествия и поступки.

Общая цель этой системы была полицейско-политическая. Под личным руководством государя велась борьба с нараставшим общественным недовольством всех классов населения, и притом велась двумя способами: суровым подавлением всяких его проявлений и некоторым смягчением его причин, поскольку для этого не требовалось никаких сколько-нибудь существенных изменений в существующем порядке. Беспощадно подавляя крестьянские волнения и сурово расправляясь с „зачинщиками“, Николай требовал расследования жалоб на жестокость или распутство помещиков и на чрезмерную эксплуатацию ими крестьян, а в крайних случаях приказывал взять имение в опеку, иногда с арестом злодея-помещика и его высылкой из имения. Высылкой в разные углы империи, отдачей в солдаты — в кавказские войска или в крепостные баталионы,

иногда даже заключением в „сумасшедший дом“, карались такие проявления вольнодумства, как сочинения „вольнодышащих“ стихов и „подозрительных“ документов или произнесение неосторожно-грубых и резких выражений по адресу высшей власти. Николаевское правительство было крайне чувствительно к малейшим проявлениям непочтительности и порицания, считало неуместной какую-либо критику; старалось внушить подданным безусловное доверие к государственной власти и убеждение, что „не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отеческие установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления“. Тяжелая атмосфера лицемерия и произвола все плотнее окутывала эту верховную власть, замкнувшуюся в иллюзии своего могущества — вне и поверх действительной жизни.

„Третье отделение“ было лишь наиболее наглядным и ярким проявлением Николаевской политической системы. Военный тип „корпуса жандармов“, начало дисциплины, спешной и безусловной исполнительности, личной команды и беспрекословного выполнения распоряжений главного командира в порядке полномочных командировок — все это приемы, применявшиеся Николаем в обще-государственном масштабе. Николай строил все свое державное властвование по военному образцу, и не даром любил называть государство „своей командой“. Ближайшим кругом помощников государя в делах управления

была его „императорская главная квартира“, чины его „государевой свиты“, — корпорация людей, тщательно подобранных и строго фильтруемых (значителен процент остзейского дворянства), людей близких, надежных, исполнительных и преданных. Своих генерал- и флигель-адъютантов Николай держал в близости и милости, но очень сурово наказывал даже за сравнительно маловажные проступки. Недоверчивый и подозрительный, он верил чинам своей свиты, видел в них людей, которые знают его взгляды и желания, и готовы беспрекословно проводить их в жизнь, притом не за страх, а за совесть. Туда, куда ему хотелось проникнуть личным наблюдением и личной распорядительностью, он их посылал, своих генерал- и флигель-адъютантов. Они должны были быть постоянно готовыми к отъезду в командировки по самым разнообразным и часто щекотливым поручениям. Через них Николай держал в своих руках управление армией, посылал их на осмотр воинских частей, на контроль над рекрутскими наборами и т. п.; их рассылал он на производство следствий о злоупотреблениях в военном и гражданском хозяйстве, требуя подробных отчетов лично себе. Такие командировки были постоянным средством прямого вмешательства верховной власти во всякие дела и вопросы: по расследованию о действиях гражданских и военных властей, о крупных уголовных происшествиях или особо сложных гражданских делах, по мероприятиям для помощи населению губерний, пострадавших от неурожая („чтобы явить жителям

новый знак непрестанной заботливости и личного внимания его величества к постигающим их бедствиям"), для борьбы с эпидемиями пожаров, в которых видели результат злостных поджогов, и т. п.

Свитские адъютанты—„ближние слуги" императора, по аналогии с которыми он и статс-секретарей называл своими „гражданскими генерал-адъютантами". Не встречая с их стороны ненавистного „всезнайства и противоречия", Николай, в то же время, требовал от них такой же многогранной компетентности, какую, по должности, приписывал и себе. Если один из генерал-адъютантов управлял церковным ведомством, властно разрешая канонические и даже богословские вопросы, почему не послать другого в Мюнхен для ознакомления с выполнением заказа „живописных картин"? И за тем, и за другим стояла самодержавная воля с ее властно-авторитетными указаниями. Так сам Николай расправлялся с художественными сокровищами Эрмитажа: применял к ним то политическую цензуру и приказывал удалить из коллекции портреты польских деятелей и декабристов или „истребить эту обезьяну" — Гудоновского Вольтера, то свой личный обывательский художественный вкус, расправляясь уничтожением или распродажей многих картин „за негодностью".

Личная дружина членов государевой свиты становилась „опричниной" Николая, выделенной не только из общественной, но и из служилой среды.

Из них выбирает он кандидатов для назначения на ответственные государственные должности, сосредоточивая в руках этих „своих“ людей все государственное управление. Такой системой Николай думал эмансипироваться и от самодовлеющей бюрократической рутины, и от дворянской требовательности, отчетливее наблюдать за ходом жизни и непосредственнее воздействовать на нее. Обманывал ли он себя достигнутыми результатами? Едва ли. Приписываемое ему унылое изречение, что „Россией управляют столоначальники“, как бы показывает, что бессилие огромной власти не было для него тайной. Он почти отказался от воздействия на жизнь страны и замкнулся в охране „порядка“. Сохранить в неприкосновенности свое самодержавие и задержать, по возможности, победу новых течений жизни— вот и вся его безнадежная задача. „Что за странный этот правитель, писала о нем графиня Нессельроде: он вспахивает свое обширное государство, и никакими плодоносными семенами его не засевает“.

Государственная организация вырождалась, теряя определенное социальное содержание. Империя переживала затяжное состояние неустойчивого равновесия между старым и новым, изжитым и нараставшим укладами народно-хозяйственной и социально-политической жизни. Наличная политическая форма становилась самоцелью для охраняющей ее власти. Но эта власть располагает огромными запасами организованной государственной энергии, значитель-

ными личными силами страны, и не может не проявляться в деятельности, которая оправдывала бы признанное за нею огромное значение. Никогда еще притязательная самонадеянность этой власти не поднималась в России так высоко, как в николаевское время. Она стремится поглотить и воплотить в себе всю общественность.

Вся философия этого строя удачно сформулирована Я. И. Ростовцевым в уже упоминавшемся выше учении о верховной власти, как таком центре всей общественной жизни, который соответствует совести в личной жизни людей, а потому призван властно водворять в обществе „нравственный порядок“, чтобы он не погиб в борьбе различных индивидуальных стремлений. Индивидуумы объединяются в общество, по этой теории, только повиновением власти. Так понимал жизнь страны еще Павел, когда запретил слово „общество“, требуя его замены словом „государство“. А сама „государственная идея приняла (по выражению друга и панегериста такого столпа русского консерватизма, как М. Н. Катков, Любимова) исключительную форму начальства; в начальстве совмещались: закон, правда, милость и кара“, пишет он о николаевском времени. Николай пытался свести государственную власть к личному самодержавию „отца-командира“, на манер военного командования, окрашенного, в духе всего быта эпохи, патриархально-владельческим, крепостническим пониманием всех отношений властвования и управления. По офи-

циальной доктрине, эффектно сформулированной министром народного просвещения С. С. Уваровым, в основе самобытной русской жизни лежат три принципа: самодержавие, православие и народность. Первым лицом этой троицы, безусловно преобладающим, являлось, конечно, самодержавие, которому все должно подчиняться, не внешне только, но и внутренно, не за страх только, а за совесть.

Православие — одна из опор этой власти, отнюдь не та „внутренняя правда“ самостоятельной и авторитетной русской церкви, о которой мечтали славянофилы, а вполне реальная система церковного властвования над духовной жизнью „паствы“, при том церковность — орудие политической силы самодержавия, вполне покорное гражданской власти под управлением синодального обер-прокурора. А под „народностью“ разумелся казенный патриотизм — безусловное преклонение перед правительственной Россией, перед ее военной мощью и полицейской выправкой, перед Россией в ее официальном облике, „в противоположность России по бумагам с Россией в натуре“, по выражению историка-националиста М. П. Погодина, перед Россией декоративной, в казенном стиле, притворно уверенной в своих силах, в непогрешимости и устойчивости своих порядков, и умышленно закрывающей глаза на великие народно-государственные нужды. Во внутренней жизни страны эта система „официальной народности“ воплощает полный застой органи-

ческой, творческой деятельности и прикрывает агонию разлагавшегося старого порядка. В отношениях международных она ведет к выступлениям, полным чрезмерной самонадеянности, к политическому авантюризму, который через перенапряжение сил страны, расшатанных внутренним кризисом, увлекает государство к роковой катастрофе.

V

РОССИЯ И ЕВРОПА.

В течение всего царствования Николая министерством иностранных дел управлял граф Карл Нессельроде. Штейн, великий патриот единой Германии, яркий выразитель национальной идеи, отзывался о нем крайне жестко: „Нет у него ни отечества, ни родного языка, а это много значит; нет у него одного основного чувства; отец — немецкий авантюрист, мать — неведомо кто, в Берлине воспитан, в Москве служит“. Тип служилого немца, выходца из мелкого германского княжества на простор иностранной карьеры; сын католика и еврейки, принявшей протестантство, случайно крещен по англиканскому обряду; воспитан в Берлине в духе модной французской культуры; рано, по службе отца, связан с русским двором, в 16 лет — флигель-адъютант Павла, в 20 — камергер, баловень придворной карьеры. При Александре — дипломат по особым поручениям, орудие личной политики императора по части секретных сношений с предателями Наполеона — Талейраном и Коленкуром, с 1816 г. его

статс-секретарь по дипломатической части. При раздвоении русской внешней политики между общеевропейскими тенденциями эпохи конгрессов и русскими интересами в Восточной Европе, Нессельроде был носителем первых, как другой статс-секретарь Каподистрия — вторых, по их связи с его греческим патриотизмом. Поворот к большей независимости русской политики в Восточном вопросе, происшедший в исходе александровского царствования и усвоенный Николаем, был формулирован Нессельроде в первом же его докладе новому императору, где умело разграничивались общеевропейские вопросы и непосредственные интересы России. Николай выполнил требование брата Константина, заявленное при знаменательных их сношениях о судьбе русского престола, — в виде совета сохранить Нессельроде, как представителя заветов Александра. Он и остался при Николае носителем традиций эпохи конгрессов, „политики принципов“, которая отводила России роль силы, охраняющей монархический порядок в Европе и те формы „политического равновесия“, какие установлены на Венском конгрессе. Николай дорожил этими принципами Фридриха-Вильгельма III и Александра I, дорожил и Нессельроде, как удобным и опытным сотрудником. Он внимательно вчитывался в доклады Нессельроде, учился у него, но по существу сам вел свою политику; Нессельроде не особенно преувеличивал, когда называл себя „скромным орудием его предначертаний и органом его политических замыслов“. Нес-

сельроде стал вице-канцлером и государственным канцлером Российской империи, но оставался все тем же статс-секретарем по дипломатической части.

Соотношение России и Европы приняло во второй четверти 19-го века новый характер. Созревает усиленная реакция против александровского интернационализма, взявшая верх еще при нем. Крепнет тенденция обособления России от Европы. Политика Александра слишком чувствительно ударяла по господствовавшим в России интересам. А вопросы, с этим связанные, особо обострены в польских и в ближневосточных делах.

Присоединение герцогства Варшавского сильно осложнило западные отношения России. Польские земли были в давней и географически-обусловленной связи с Пруссией. Польский экспорт и польский рынок для сбыта ввозимых товаров служили выгодным объектом прусской эксплоатации. Льготные условия, установленные на Венском конгрессе и в последующих соглашениях для торгового обмена между частями разделенной Польши, обеспечивали и в дальнейшем эти прусские выгоды, а получали крайне расширенное значение, с одной стороны, потому, что охватывали бывшие польские земли „в границах 1772 года“, а с другой — потому, что за Пруссией строился немецкий таможенный союз. Пруссия стремилась использовать эти условия для захвата в пользу своей торговли и промышленности польского и русского рынков. Таможенная самозащита со стороны России и Польши стала на очередь

и привела к новому торжеству покровительственной системы в русской имперской экономической политике. Привела она и к другому результату, не менее существенному: к экономическому сближению Царства Польского с Россией с ослаблением, а затем и полной отменой русско-польской таможенной границы, притом по почину не русских, а польских финансовых деятелей, во главе которых стоял Ксаверий Любецкий.

Все эти экономические отношения, которые тут могут быть упомянуты лишь мимоходом [1]), значительно усложняли проблему самостоятельности Царства Польского в составе русской империи. Вопросы общеимперской политики все больше ее захлестывали. И не только таможенные или торгово-промышленные и финансовые. Николай подходил к польскому вопросу также со стороны политико-стратегической. Западная граница империи представлялась ему не усиленной, а ослабленной с присоединением Царства Польского. Вполне пренебрегая, со своей русско-имперской точки зрения, судьбами польской народности, он предпочел бы иной раздел Польши, с имперской границей по Нареву и Висле и с уступкой соседям земель на запад от этой границы, по возможности в обмен на Восточную Галицию, а то и даром. Самостоятельное существование конституционной Польши было несовместимо со всем укла-

---

[1]) См. мою статью: „Экономика и политика в польском вопросе начала 19 века“, в журнале „Борьба классов“, кн. I.

дом его воззрений; ее создание он считал ошибкой Александра, „достойной сожаления“ в такой же мере, как конституционные обещания Фридриха-Вильгельма III своим подданным; в этих пунктах он решительно отступал от благоговейного уважения к своим излюбленным авторитетам. К принципу национальных самоопределений он относился с полным отрицанием. Связь национальных движений с либерально-освободительными придавала этому принципу революционный характер. Это был принцип антимонархический, несовместимый с идеей самодержавия. Призыв к возрождению народностей, сошедших с арены активной политической жизни, казался лишь предлогом, только формой революционной агитации. Отсюда враждебное, например, отношение николаевского правительства к панславизму, подозрительное — к славянофильству. Официально разъяснялось, что русский патриотизм должен исходить „не из славянства, игрою фантазии созданного, а из начала русского, без всякой примеси современных идей политических“.

Польское восстание 1830 — 31 г. было для Николая ярким подтверждением этих его воззрений. Россия сама создала польские силы для борьбы с собой: финансы Польши (налаженные Любецким) „позволили образовать в казначействе резервный фонд, который затем оказался достаточным для поддержки нынешней борьбы“, отметил Николай в собственноручной записке о польском восстании, „армия, созданная по образцу имперской, была всем снаб-

жена от России“, получила отличную организацию на основе русских кадров, польская промышленность поднялась за счет русской на имперском рынке, а внутренняя автономия Польши, при которой там считалось допустимым и даже похвальным многое, что в империи признавалось преступным и каралось, подрывала „то, что составляет силу империи, т.-е. убеждение, что она может быть сильной и великой только под монархическим правлением самодержавного государя“. Польское восстание сильно тревожило Николая, стоило ему „девятимесячных мучений“, за избавление от которых он благодарит Паскевича. Но тревога осталась. С Польшей надо покончить. Нескрываемая радость звучит в словах Николая: „Я получил ковчег с покойницей конституцией, за которую благодарю весьма, она изволит покоиться в оружейной палате“. Он заменил „покойницу“ мертворожденным „органическим статутом“, который превратил Царство Польское в имперскую провинцию, а на деле отдал ее под военно-полицейскую диктатуру наместников и намечал для подрыва влияния землевладельческой шляхты „увольнение крестьян в королевстве по примеру, указанному в Пруссии“. Его идеалом была бы полная руссификация Польши для объединения всей империи, с ее польскими, немецкими, украинскими и другими окраинами, на началах самодержавного властвования и „официальной народности“. Но в польской политике приходилось считаться с соседними странами. Николай крайне недоволен уступками, какие

делает Фридрих-Вильгельм IV познанским полякам и в национальных и в церковных вопросах, пытается и лично и через жену-императрицу воздействовать на ее брата, чтобы он согласовал свою польскую политику с его национальной системой подавления польской жизни. Недоволен он и действиями австрийского правительства в Галиции. Он полагал, что согласные действия трех правительств могли бы уничтожить польскую национальность и вовсе не сознавал, насколько его репрессии только крепче выковывают польский патриотизм... Польские впечатления и тревоги, несомненно, усиливали консерватизм Николая, укрепляли его уверенность, что его политическая система — единственно возможная для сохранения „спокойствия и порядка“ в Российской империи, даже самого ее существования.

Опасность грозила этим „устоям“, попрежнему, с Запада. Этот Запад переживал все более глубокие революционные потрясения, перерождался в самых основах своего быта. Крепли связи России с Европой, все глубже отражались в ее быту процессы общеевропейской эволюции. Остановить колесо русской истории можно было бы, только остановив или хоть задержав роковое движение Европы. Николай всю жизнь провел в непосильной борьбе с „духом времени“.

Эта борьба за „принципы“ и „традиции“ своеобразно переплеталась с его представлениями о русских международных интересах. От брата Александра и прусского тестя он твердо усвоил понятие „закон-

ной“ власти, законной по происхождению ее права на властвование. Наследственная монархическая власть должна быть „священным залогом“ в руках ее носителей, которые и права не имеют ее умалять, делиться ею с народными представителями. Любопытный эпизод с завещанием Фридриха-Вильгельма III, которое составлено при участии Николая и предоставляет членам династии право опротестовать всякую попытку своего главы умалить державную власть конституционными уступками, — весьма показателен. Он дал Николаю лишний повод для покушений на вмешательство во внутренние дела Пруссии. Пользуясь личной близостью с прусским королем, Николай пытается воздерживать его от малодушного либеральничанья, от созыва „генеральных чинов“ и признания за ними права голоса в финансовых вопросах, особенно при заключении государственных займов. Он дорожил прусской дружбой. „Но, писал он Фридриху-Вильгельму, Россия всегда будет верною союзницей своего старого друга — доброй, старой и лойяльной Пруссии“, а не Пруссии новой, вошедшей в компромисс с „революцией“. Ему нужна старая, военно-феодальная и монархичная Пруссия, как оплот против революционного Запада, а не Пруссия, увлеченная подъемом своего торгового и промышленного капитализма на новые пути политического развития. Эта нарождающаяся новая Пруссия тягостна покушениями на эксплуатацию не только Польши, но и России, как своего Hinterland'a, для своих коммерческих обо-

ротов. После встряски 1848 года, после попытки избрать Фридриха-Вильгельма главой объединенной Германии, Николай готов на разрыв с Пруссией, раз она бросается в объятия новой Германии, „Германии федеративно-объединенной, демократической, аггресивной, жаждущей главенства и территориальных захватов“. Буржуазно-революционный переворот в Германии страшил Николая не только, как крушение старого порядка, построенного на абсолютизме монархической власти, но и как источник грозного капиталистического империализма в международных отношениях. И он всю силу своего влияния употребляет на подавление этих тенденций, на противодействие объединению Германии, на поддержку против Пруссии Дании в шлезвиг-гольштинском вопросе, Австрии и второстепенных германских государств в вопросах общегерманского устройства. Защита „принципов порядка“ приобретает вполне реальный смысл борьбы против подъема национальных сил, опасных для международного положения Российской Империи: в новой форме воскресает старая политика 18-го века — разделенные и слабые соседи гораздо удобнее.

Не менее опасным считал Николай и революционное движение в австрийских землях. Монархия Габсбургов — исконный оплот старого порядка — должна быть сохранена. Венгерское восстание Николай понял, как большую опасность по выдающемуся участию в нем поляков: успех этого восстания грозил бы новым подъемом польского движения, кото-

рое проявлялось беспрерывными вспышками в течение 40-х годов и которому Николай в 1846 г. нанес чувствительный удар, настояв на уничтожении „вольности“ Кракова. Подавление венгерского восстания русскими войсками было актом самозащиты со стороны Николая, моментом его личной политики, а не услугой союзнику, как это не раз изображали официально и неофициально.

Инстинкт самозащиты вносил Николай во всю свою общеевропейскую охранительную политику. И западная публицистика была права, когда видела в русском самодержце главного врага революционному обновлению Европы (мысль, которую так настойчиво развивал Карл Маркс в ряде горячих статей). Понятно, что с особой тревогой Николай следил за источником всех революционных потрясений, за Францией. Предвидя неминуемый взрыв, он осуждал слишком резкие ультра-реакционные меры Карла X, но его падение и переход власти к Луи-Филиппу принял, как вызов остаткам „старого порядка“. „Он покусился на подрыв и крушение моей позиции, как русского императора, говорил Николай про Луи-Филиппа, этого я ему никогда не прощу“. Власть, созданная революцией и полагавшая свою законность в „воле народа“, не могла быть признана „законной“: ее легализация международным признанием подрывает все основы „порядка“. Такова первая мысль Николая. Недавние события наполеоновской эпохи заставляли думать, что революционный взрыв освобождает массу на-

циональной энергии в стране и грозит перевернуть все международные отношения интенсивной внешней политикой. Николай встретил новую власть во Франции враждебно; сгоряча велел всем русским выехать из Франции, запретил появление трехцветного французского флага в русских портах, не хотел признавать „узурпатора“. Это означало разрыв дипломатических и торговых сношений с Францией. С трудом удалось русскому послу в Париже, Поццо ди Борго, разъяснить рассерженному самодержцу консервативный характер монархии Луи-Филиппа, как компромиссной приостановки революционного движения, устранение которой привело бы к низвержению монархии и провозглашению республики. Признание Луи-Филиппа другими державами заставило Николая уступить и ограничиться политически-бестактным третированием короля, за которым он никак не хотел признать равенства с настоящими государями. Это чувство было столь сильно в Николае, что он даже со злорадством отнесся к падению монархии Луи-Филиппа в 1848 году: „негодяй“, каким был этот король в его мнении, потерял власть тем же путем, как ее получил, и получил только то, что заслужил. Такое отношение к Луи-Филиппу усиливалось польскими симпатиями Франции и отражениями июльской революции в странах Европы. Особенно возмутил Николая распад Нидерландов на Бельгию и Голландию; он настаивал на вооруженной защите другими державами „прав“ нидерландского короля и готовил для этого рус-

ские войска. Но независимость Бельгии имела поддержку в Англии и во Франции; Пруссия и Австрия держались пассивно: пришлось отступить и тут. Все эти отступления прикрывались канцелярско-дипломатическими фикциями, на которые Нессельроде был мастер: вроде признания Луи-Филиппа заместителем Карла X, который будто сдал ему полномочия своим отречением, или признания Бельгии, когда ее голландский король признает, и т. п. Такие уступки тяжело переживались Николаем, как моменты разложения тех „основ порядка“, на страже которых он пытался стоять. Система Венского конгресса, сила трактатов 1815 года, — окончательно подорвана. Их сменила система соглашений, установленных в 1833 — 35 годах, и Николай твердо за нее держался, но уже без доверия к устойчивости „порядка“ в Европе. Дипломатические фикции настойчиво поддерживались николаевским правительством до конца: русская дипломатия продолжает постоянно ссылаться на „трактаты 1815 года“. 1848 год нанес новый удар николаевской „системе“. Снова произошел порыв Франции к новому будущему. Республиканское правительство объявило трактаты 1815 года упраздненными; национальное собрание провозгласило руководящими началами французской политики — союз с Германией, независимость Польши, освобождение Италии. Это был прямой вызов.

„Наступила торжественная минута, которую я предсказывал в продолжение 18 лет; революция

воскресла из пепла и нашему общему существованию угрожает неминуемая опасность", так писал Николай прусскому королю по поводу февральской революции. Революционное движение разливалось по всей Европе. Но первая мысль Николая о сосредоточении контрреволюционных сил для его подавления сразу ограничена задачей „подавления смуты" в Польше, Галиции, Познани.

Прежние союзники — Пруссия, Австрия — сами потрясены революционным движением. Пруссия преображается, вовлечена в общегерманское движение: „Старой Пруссии больше не существует, пишет Николай, она исчезла — в Германии, и наш древний близкий союз исчез вместе с нею". Пришлось признать, что реакция в плане „эпохи конгрессов" — невозможна; оставалось ее поддерживать частичным вмешательством в германские и австрийские дела. А по существу, русской реакционной системе оставалось замкнуться в своих национальных пределах.

Николай несомненно пережил момент тревоги, как бы движение не захватило и его империю. Рядом с усилением полицейского террора, он обращается, как в 1826 году, к дворянству с призывом содействовать власти в охране „порядка" и с заявлением, что землевладельческие привилегии — священны и неприкосновенны. Казалось, что предстоит и внешняя борьба, которую готова поднять революционная Европа против восточного самодержца.

Николай лично написал известный манифест 14/26 марта 1848 года, в котором говорил о „новых смутах“, взволновавших Запад Европы после „долголетнего мира“, о „мятеже и безначалии“, которые возникли во Франции, но охватывают и Германию, угрожают России; Николай призывает всех русских защищать „неприкосновенность пределов“ империи, призывает их к борьбе „за веру, царя и отечество“, и к победе, которая даст право воскликнуть: „с нами бог, разумейте народы и покоряйтесь, яко с нами бог“. Это восклицание он, с тех пор, любил повторять по любому поводу.

Манифест был опубликован и по-немецки в берлинских газетах и прозвучал встречным вызовом русского самодержца революционному движению Запада. Нессельроде пришлось даже разъяснять в циркулярной дипломатической ноте, что манифест этот отнюдь не означает каких-либо наступательных намерений России. „Пусть народы Запада, говорилось в этой ноте, ищут счастья в революциях. Россия смотрит спокойно на эти движения, не принимает в них участия и не будет им противодействовать; она не завидует судьбе этих народов, даже если бы они вышли из смут анархии и беспорядка к лучшему для них будущему. Сама Россия спокойно ожидает дальнейшего развития своих общественных отношений от времени и от мудрой заботливости своего царя“. Резко противопоставлялась консервативная Россия революционной Европе. Николай выступал перед Западом охранителем и

опорой консерватизма и реакции. А обширная страна, ему подвластная, казалась безмолвной, покорной и крепкой базой для замкнутой в своих традициях тяжеловесной власти северного самодержца. Кипучая политическая жизнь Запада замирала у русской границы. И поэту, хвалителю николаевского режима, Россия представлялась спокойным и надменным, неподвижным и неизменным утесом великаном, о который разбиваются волны взбаломученного революцией западного моря [1]).

В идеологии николаевского времени Россия и Европа противопоставлялись, как два культурно-исторических мира разного типа, несравнимых и несоизмеримых ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Политическая действительность, отражавшаяся в таких воззрениях, сводилась ко все большей изоляции России в системе европейских международных отношений. С мнимой уверенностью в своих силах николаевская Россия противопоставила себя и свои интересы всему европейскому политическому миру — на почве восточного вопроса. Назревший и все нараставший конфликт разразился по поводу борьбы за господство на Ближнем Востоке, привел к крушению всю николаевскую политическую систему, разбил и личную жизнь Николая.

---

[1]) Тютчев, „Море и утес“ (1848).

VI

НЕИЗБЕЖНАЯ КАТАСТРОФА.

Внешние успехи николаевской политики в конце 40-х годов казались значительными: устранено объединение Германии, сокрушена Венгерская революция, подавлена Польша, мечтавшая о новом подъеме. Франция, после новой революции, казалась ослабленной. Николай горячо приветствовал жестокое подавление генералом Кавеньяком восстания парижского пролетариата в кровавые июньские дни и признал в буржуазной республике силу консервативную и контр-революционную. Русская дипломатия даже подготовляла сближение с нею, на случай, если не удастся предотвратить объединения Германии в „могущественную и сплоченную державу, непредвиденную существующими трактатами, и представляющую народ в 45 миллионов душ, которая, послушная единой центральной власти, нарушит всякое равновесие“. Однако, формальное признание республики было задержано возвышением Луи-Наполеона. В нем видели, как и сам он того хотел, возродителя традиций Наполеона I, в его возвышении к власти —

возвращение того режима, который был разбит силами коалиции всех держав в 1813 году. Впрочем, Николай примирился с избранием Наполеона в президенты республики и готов был на добрые с ним отношения, пока тот „остается в пределах своего настоящего полномочия“ и не стремится к восстановлению империи. Русского самодержца привлекала энергия Бонапарта, в которой он видел силу, способную сдержать революционное движение во Франции. Но превращению претендента в императора Наполеона III он пытался противодействовать и особенно негодовал на цифру III, утверждая, что Европа не знает никакого Наполеона II. Тревожил призрак возрождающегося наполеоновского империализма, разрушительного для всей системы „равновесия“, в корень враждебного „легитимизму“, согласно с которым только одна возможна во Франции династия — Бурбоны. К тому же всякое правительство, порожденное революцией, казалось неустойчивым и непрочным, а потому не могло быть принято равноправным членом в „европейский концерт“ держав не только по принципиальным, но и по практическим соображениям. А их николаевское правительство сильно преувеличивало и слишком долго недооценивало результатов переворота, упразднившего республику в пользу империи Наполеона III. Признать его, конечно, пришлось вслед за всеми державами. Николай только дразнил Наполеона, а себя тешил тем, что не хотел называть его „братом“ своего самодержавия, и называл „другом“ или

„кузеном“. Мнимая видимость все чаще закрывала для него и скрывала от него реальный смысл действительных отношений.

А этот реальный смысл был в нараставшей изоляции России. Давние союзники — Австрия и Пруссия — тяготились нависшим над ними громоздким давлением соседа. Державы крайнего Запада — Франция и Англия — были определенно враждебны и крайне недоверчивы к нему. Замкнувшись в себе и решительно противопоставляя себя Западной Европе, николаевская Россия все настойчивее развертывает свой особый империализм на Востоке.

Несмотря на всякие отживавшие свой век предрассудки „старого порядка“, Франция Наполеона III давала существенный урок Николаю и русским бюрократам. Чем яснее развертывалась наполеоновская политическая система, тем больше росли симпатии к нему русского самодержца. В Петербурге не могли не оценить, что он „уничтожает демагогию“, упраздняет „парламентарный режим“, оказывает „всей Европе большую услугу“, превращая Францию, этот „очаг смут и революций“, в страну дисциплинированную милитаризмом и полицейским режимом. Но в то же время, отрекаясь от пережитков феодальной реакции, погубившей Бурбонов, он идет по пути служения развитию торгово-промышленного капитализма, интересам буржуазии. Наполеоновский режим являл образец буржуазной монархии, чуждой политической свободы, при широком развитии торговли, промышленности, просвещения под строгой опекой

полицейского государства; осуществлял тот тип бюрократической монархии, который с той поры стал идеалом русской бюрократии. В этом режиме разрешались, по видимости, те противоречия, которые так осложняли внутреннюю политику Николая и приводили ее к бесплодному и мертвенному застою. Расцвет капиталистического развития промышленных сил страны оказывался согласимым с сохранением бюрократически организованного самодержавия.

Но в России внутренние отношения страны не давали хода такой эволюции — без отмены крепостного права. Усердное покровительство промышленности подрывалось слабостью внутреннего рынка, связанного крепостническими путами. Не от насыщенности его спроса, а от слабости его потребления исходил русский дореформенный империализм в поисках за внешними рынками для сбыта произведений растущей русской промышленности. Вместо углубления базы народно-хозяйственного развития освобождением трудовой массы из пут устарелого строя, русская политика пошла в сторону внешнего расширения этой базы на Среднем и Ближнем Востоке.

Охранитель „равновесия“ на Западе, Николай с самого начала своего царствования повел энергичную восточную политику. Персидская и Турецкая войны 20-х годов, завоевание Кавказа в многолетней горной борьбе, наступление в среднюю Азию с 30-х годов — широко развернули программу этого восточ-

ного империализма. Он ставил русские интересы в резкое противоречие с устремлением Англии, а затем и Франции к экономическому господству в азиатских странах. В то же время Россия, выступая соперницей Англии в Персии и Средней Азии, в значительной мере освобождалась от былого преобладания Англии в своем спросе на заграничные товары как развитием сухопутной торговли с континентальными странами, так, особенно, своими покровительственными тарифами. Еще недавно эксплуатируемая, подобно колониям, страна не только добивается некоторой самостоятельности в промышленном отношении, но и выступает с соперничеством, которое вызывало в Англии сильную тревогу. Все эти вопросы и отношения обусловили значительное обострение международных конфликтов на почве Ближнего Востока. Тут николаевское правительство проводило с настойчивой последовательностью тенденцию преобладания России, трактуя Турцию, как страну внеевропейскую, а потому стоящую вне „европейского концерта“, и отстаивало право России сводить свои счеты с нею вне воздействия западных держав.

Наступление России на Ближний Восток нарастало с развитием колонизации русского юга, с экономическим подъемом Новороссии и всей Украйны, с ростом значения черноморских торговых путей. Еще при Александре I казался близким к осуществлению план захвата Молдавии и Валахии. Покровительство России балканским славянам было закреплено в

ряде договоров императора с султаном. Дунайские княжества управлялись по „органическим статутам“, установленным под русским давлением. „Органический статут“ такого же происхождения получила и Сербия в 1838 году. Этот термин, которым означали балканские конституции, не лишен значительности и вовсе не случаен. „Органическим статутом“ заменил Николай и польскую конституцию, по подавлении восстания. Так означались учредительные акты, даруемые верховной властью, „уставные грамоты“, как передавали этот термин по-русски, вводимые по воле государя. Русский протекторат над придунайскими странами, конкурировавший с властью султана над ними, выражался в гарантии их строя, в подчинении русскому влиянию их правителей и в постоянном вмешательстве в их дела. Ослабление власти оттоманской Порты над подчиненными ей областями казалась Николаю признаком близкого распада Турции. В предвидении этой неизбежной, казалось, смерти „больного человека“, он укреплял свою позицию по отношению к имеющему открыться наследству. Он был уверен, что с Англией можно сговориться. Достаточно в Средней Азии разграничить сферы влияния, поддерживать равновесие и охранять спокойствие „в промежуточных странах, отделяющих владения России от владений Великобритании“ и свести соперничество к соревнованию на поприще промышленности, но не вступать в борьбу из-за политического влияния, чтобы избежать столкновения двух великих держав. Как часто бы-

вало у него в острых политических вопросах, он полагал, что можно, допуская причину, избежать следствий, а, в данном случае, недооценивал предостережения умного старика Веллингтона по поводу наступления в азиатские страны: „В подобных предприятиях помните всегда, что легко итти вперед, но трудно остановиться". Более дальнозоркие англичане забили в набат о русской опасности, угрожающей их индийским владениям от появления русских в Средней Азии.

Относительно ближневосточных дел проекты и предвидения николаевского правительства колебались между стремлением сохранить слабую Турцию, которая подчинялась бы русскому давлению, и ожиданием распада и раздела турецких владений. Когда восстание Мегмета-Али грозило возрождением мусульманской силы под арабским главенством, русские войска отстояли султана и поддержали пошатнувшуюся Порту за цену договора, усиливавшего русское влияние на Ближнем Востоке. Однако, дважды, в 1844 году, при посещении Лондона, и в 1853 г., в беседе с английским послом в Петербурге, Николай лично обсуждал с английскими государственными деятелями возможности раздела Турции. Он серьезно думал, что вопрос этот назревает и что надо готовиться к моменту неизбежного его разрешения. В Лондоне учитывали эти откровения русского самодержца, как доказательство широты его завоевательных планов, и отвечали уклончиво, но все больше настораживались в опасении перед рус-

ской политикой. Упорно, шаг за шагом, добивается английское правительство от Николая признания балканских дел не особым русско-имперским вопросом, а общим делом европейских держав, в котором ни одна из них не должна действовать без соглашения с другими. Николай не только шел на эти „конвенции“, которыми английские политики пытались связать самочинность его действий на Востоке, но искал и сам сближения с Англией, чтобы расстроить англо-французские соглашения. Англия, преобразованная парламентской реформой 1832 года в страну всецелого господства торгово-промышленных интересов, следила с нараставшей тревогой за ходом восточной политики Николая, за мерами к развитию русского флота, за господством России над дунайским речным путем, за превращением Черного моря в русское владение, а проливов — в охраняемый турками, по договорному обязательству, выход России на пути мировых сношений. Базой английского влияния на Ближнем Востоке, в противовес русскому, служила Греция. С поддержкой Англии добилась она самостоятельного политического бытия, морская и финансовая мощь Англии ставила молодую страну под властный патронат „владычицы морей“. Тут роли менялись. Россия и Франция приняли участие в грекофильской политике английского правительства, чтобы ограничить роль Англии в вершении судеб балканской борьбы. Николай принял независимость Греции в программу своей политики, хотя не переставал повторять, что считает греков „бунтов-

щиками“ против законной власти султана, незаслуживающими ни доверия, ни сочувствия. Характерно это различие в отношении к Греции и к Дунайским землям. Их Николай признает самостоятельными, по существу, государствами под своим покровительством, а греческое движение расценивается им по-старому, с точки зрения легитимизма, и лишь в противовес англо-французской политике берет он его под свою опеку. Такое сплетение отношений на Ближнем Востоке вело с роковой неизбежностью к острому и решительному конфликту. Но Николай его не предвидел. Правда, с тридцатых годов он обсуждает возможность столкновения с Англией. Пытается развивать и морские и сухопутные силы, при явно недостаточных технических средствах и экономических силах. Но он до конца надеялся избежать этого столкновения. Он долго обманывал себя расчетом на такое соглашение между Россией и Англией по всем вопросам восточной политики — и в Средней Азии и на Балканском полуострове, которое примирит их антагонизм и предупредит последствия слагавшегося англо-французского союза или даже его расстроит. Деятельная работа русской дипломатии в конце 40-х и начале 50-х годов, которой Николай сам руководит, проникнута стремлением закрепить разлагавшуюся систему мирных отношений и выйти из нараставшей изоляции России с помощью приемов, уже недостаточных и далеких от политической действительности. Николай, живший в мире „династической мифологии“, по выражению его немецкого

биографа [1]), приписывал, в своем державном самосознании, решающее значение в ходе политических событий личным отношениям, взглядам и предположениям правящих лиц, смешивал иной раз значение формальных международных обязательств и личных бесед или писем, какими обменивались власть имущие. Технику международных отношений он представлял себе в форме личных сношений и отношений между государями, непосредственных или через уполномоченных ими послов; зависимость политики от борьбы парламентских партий и смены министерств в конституционных государствах, по его мнению, лишает ее устойчивости, а заключенные трактаты — прочного значения. Он строит существенные заключения и рассчеты на прусской дружбе, австрийской благодарности за венгерскую компанию, на английском благоразумии, к которому обращается в личных переговорах, на плохо понятом самолюбии Наполеона III, которому должно польстить приглашение в Петербург с обещанием „братского" приема у русского самодержца (что французский император естественно принял, как обидную бестактность) и т. п. Преувеличивая значение приемов, традиционных в международных сношениях эпохи абсолютизма, Николай дипломатическими иллюзиями отгонял от себя до последней возможности ожидание неизбежного взрыва огромной борьбы. В этом — один из корней

[1]) Теодор Шиманн, „Geschichte Russlands unter Kaiser Nicolaus I", 4 тома.

своеобразного трагизма того положения, в каком он очутился при начале войны 1854—56 годов. Другой — вырос из раскрывшейся ужасающей слабости громоздкого государственного аппарата перед задачами напряженного боевого испытания.

Официальная фразеология (больше чем идеология) связала и балканскую политику Николая со старинными русскими традициями. В обманчивом расчете на то, что западные державы, в конце-концов, уступят и не пойдут на решительную борьбу против русского протектората над Турцией и ее христианскими подданными, Николай поставил ребром вопрос о своем притязании на авторитетное покровительство православной церкви в пределах турецкой империи, т.-е. в виду государственно-правового и административного значения константинопольского патриарха, — над всем православным населением Оттоманской Порты. А на объявление войны Турцией 19 октября 1854 года ответил манифестом, где причиной войны выставил защиту законного права России охранять на Востоке православную веру. Эта политика — прямой вызов западным державам — привела к непосильной борьбе, без союзников, с целой коалицией. Техническая отсталость свела в этой борьбе на нет значение русского флота. Мертвящий формализм николаевской системы и навыки безответственной рутины обессилили русскую армию. При строгой внешней выправке эта армия оказалась слишком пассивным орудием высшего командования. Суровая и бездушная муштровка подорвала энергию и находчи-

вость ее отдельных тактических единиц, а навыки механически-стройного движения сплоченных масс, выработанные на плац-парадах, были вовсе бесполезны на поле битв. Живая и полная одушевления армия 1812 года не пользовалась сочувствием Николая и его братьев. По их убеждению походы 1812—14 г.г. испортили войска и расшатали дисциплину; все усилия были направлены на уничтожение ее духа, казавшегося слишком гражданским. Но всего тягостнее сказалась на ходе войны крайняя дезорганизация тыла — его несостоятельность в снабжении армии, в санитарной и интендантской частях. И внешние и внутренние условия, в каких протекала война, были полным крушением николаевской политической системы.

В конце 1854 года беспомощно и бесплодно прозвучал патетический манифест, которым Николай пытался сделать войну „отечественной“, на подобие 1812 года, призывая страну к самозащите, а 18 февраля 1855 года он умер, так неожиданно и в таком подавленном настроении, что многие не хотели верить в естественность этой смерти.

VII

ЛИЧНЫЕ ИТОГИ.

Про младшего из Павловичей, Михаила, рассказывали, что заграницей, в штатском платье, он был очень простым и приветливым собеседником, а возвращаясь в Россию, переодевался на границе в туго затянутый военный мундир, говорил себе в зеркало, перед которым оправлялся: „прощай, Михал Палыч“, и выходил на люди тем резким и жестким фронтовиком, каким его знали в России. Та же двойственность, прикрывавшая условной личиной человеческую натуру и, в конце-концов, неизбежно ее искажавшая, характерна и для его братьев — Константина, Николая. Тяжелый, неуравновешенный нрав, мелочной формализм и порывы грубой раздражительности были общими у Константина и Михаила. Конечно, можно эти черты отнести, в значительной мере, к наследственности по отцу. Но и весь строй жизни, в атмосфере тогдашней военщины, создавал условия для крайнего развития этих черт. Николай знал особенности своих братьев

и часто тяготился ими. Но поделать с этим ничего не мог. Отношения к старшему, Константину, были осложнены теми правами на престол, которые от него перешли к Николаю и память о которых осталась в его пожизненном титуле цесаревича, а Константин не раз пытался проявлять свой авторитет старшего, к тому же блюстителя заветов Александра. Но и помимо того, династические воззрения Николая придавали его отношению к братьям особый характер: он не мог отрицать за ними права на некоторое соучастие во власти, по крайней мере, в военном командовании. В письмах к жене он иной раз жаловался на тяжелый нрав Михаила, который своими выходками производит нежелательное впечатление и в обществе и в армии. Он считал его нервно-больным: „это прискорбно, писал он, но что я могу поделать; в 50 лет не излечишь его от такой нервичности".

Николай был, в общем, более уравновешен, чем его братья. Но и его натуре не были чужды те же черты, то и дело выявлявшиеся весьма резко. И он легко терял самообладание в раздражении — и тогда сыпал грубыми угрозами или произвольными карами; терялся в отчаянии от неудач — и тогда малодушно жаловался, даже плакал. Сильной, цельной натурой он отнюдь не был, хотя понятно, что его часто таким изображали. Его образ, как императора, казался цельным в своем мировоззрении и политическом поведении, потому что он — выдержанный в определенном стиле тип самодержца. Но это — ти-

пичность не характера, а исторической роли, которая не легко ему давалась.

Бакунин в 1847 году так характеризовал внутреннее состояние России: „Внутренние дела страны идут прескверно. Это полная анархия под ярлыком порядка. Внешностью бюрократического формализма прикрыты страшные раны; наша администрация, наша юстиция, наши финансы, все это — ложь: ложь для обмана заграничного мнения, ложь для усыпления спокойствия и совести государя, который тем охотнее ей поддается, что действительное положение вещей его пугает". Николай представлялся ему иностранцем в России; это — „государь немецкого происхождения, который никогда не поймет ни потребностей, ни характера русского народа".

А в 1858 году, после смерти Николая, прямой антипод Бакунину, Валуев положил начало блестящей чиновничьей карьере запиской „Думы Русского", где главной причиной падения Севастополя объявлял „всеобщую официальную ложь". И таково было почти общее суждение о николаевской России.

Глава этой официальной России любил декоративность, придавал своим выступлениям театральные эффекты. Порывы несдержанной резкости покрывались сценами великодушия. Он был способен после грубого оскорбления, нанесенного публично, извиниться торжественно, пред фронтом, и думал, что одно искупает другое, зная, что такие жесты производят впечатление на среду, пропитанную со-

знанием несоизмеримости между господином и слугой. Иностранцы, не без иронии и возмущения, отмечали эту смесь резкого высокомерия и вульгарного популярничанья в его поведении: покорные слуги должны были трепетать перед своим господином и ценить на вес золота его привет, рукопожатия, поцелуй.

Самая „народность“, принятая в состав основ официальной доктрины, вырождалась в декоративный маскарад русских национальных костюмов на придворных празднествах. Этот маскарад получал иной раз жестокое политическое значение, когда, например, в Варшаве было предписано польским дамам представляться императрице — в сарафанах. Польки повиновались, и Николай писал с удовольствием: „Так цель моя достигнута; оне наденут не польский, а русский костюм“. Бакунин был прав: подлинное русское самолюбие подсказало бы Николаю, что такой сценой унижены не польки, а русский сарафан. Николаю такое ощущение было чуждо: ведь и любимое им военное дело вырождалось в декорацию, вредную для боевой техники, мучительную для войск. Нашелся патриот, который решился пояснить ему, что принятый им способ обучения войск ведет к „разрушению физических сил армии“, к необычайному росту смертности, подрыву сил и неспособности к труду. „Принята, писал он, метода обучения, гибельная для жизни человеческой: солдата тянут вверх и вниз в одно время, вверх — для какой-то фигурной стойки, вниз — для вы-

тяжки ног и носков; солдат должен медленно, с напряжением всех мускулов и нервов, вытянуть ногу в половину человеческого роста и потом быстро опустить ее, поддавшись на нее всем телом, от этого вся внутренность, растянутая и беспрестанно потрясаемая, производит болезни; солдат после всех вытяжек и растяжек, повторяемых несколько раз в день по 2 часа на прием, идет в казармы, как разбитая на ноги лошадь". Но результаты этой массовой пытки — стройные движения масс в красочных мундирах на смотрах и парадах — восхищали Николая своей яркой картинностью. Тут — высшее для него воплощение „порядка". Его эстетика пропитана милитаризмом, как ее лучшим воплощением. Его политика и эстетика удивительно гармонируют между собой: все по струнке. Он любил единообразие, прямолинейность, строгую симметрию, правильность построения.

Эстетика Николая сказалась на строительном деле его времени. Оно входило в круг его личных интересов, а кроме того, он ведь считал своим долгом во все вникать, все решать самому, не только в государственных делах, но и, например, в вопросах искусства. В этюде, который А. Н. Бенуа посвятил этой деятельности Николая, собраны любопытные наблюдения [1]). Ни один частный дом в центре Петербурга, ни одно общественное здание

[1]) „Дворцовое строительство императора Николая I", „Старые годы", 1913, июль — сентябрь.

в России не возводились без его ведома: он рассматривал все проекты на такие здания, давал свои указания, утверждал их сам.

Унаследованный николаевской эпохой классицизм в архитектуре постепенно засыхает в новой атмосфере, принимает более жесткие формы, подчиняется „казарменной“ прямолинейности. В применении к иным задачам он и мельчает, обслуживая запрос на „изящные“ и „уютные“ искусственные „уголки“. Но не этот „николаевский классицизм“ характерен для данной эпохи. Внутренно противоречивая во всем быту и во всем строе своем, николаевская эпоха изживает старые формы и суетливо ищет новых, часто впадая в эклектизм, сочетая разнородное. И сам Николай с 30-х годов увлекается „всем тем, чем увлекались при дворах Фридриха-Вильгельма IV прусского, Людвига и Макса I баварских и даже ненавистного ему Луи-Филиппа“. В художественное творчество проникает „некоторая хаотичность и та пестрота, которая вредит общему впечатлению от него“. Исчезает впечатление общего цельного стиля.

В духе времени, началось тогда изучение подлинной русской старины и увлечение ею. Но использование ее форм приняло, также в духе времени, всю условность „официальной народности“. Характерны, например, введение в „ампир“ таких декоративных моментов, как двуглавые орлы, с одной стороны, а с другой, — древне-славянского оружия, взамен римского, или сухие и скудные попытки

ввести „национальный“ элемент в стиль построек, светских зданий и церквей. „В официальных зданиях“, замечает Бенуа, отразились, конечно, сухость, суровость и холодность, все равно делалось ли это в классическом еще стиле или уже в новом духе с намерением передать „национальность“, как, например, в дворцах (Николаевский и Большой в Московском Кремле), в православных церквах К. А. Тона, многочисленных дворянских собраниях, губернаторских домах, присутственных местах, казармах, госпиталях и подобных зданиях, не без основания заслуживших термин „казарменного стиля“.

Как во всем режиме, и тут казенная условность давила и связывала творчество. И сам Николай, в своих личных переживаниях, типичен для своей эпохи. И он подчас остро переживал давящую напряженность своей роли. Вот характерные строки одного из его писем: „Странная моя судьба; мне говорят, что я—один из самых могущественных государей в мире, и надо бы сказать, что все, т.-е. все, что позволительно, должно бы быть для меня возможным, что, я, стало быть, мог бы по усмотрению быть там, где и делать то, что мне хочется. На деле, однако, именно для меня, справедливо обратное. А если меня спросят о причине этой аномалии, есть только один ответ: долг! Да, это не пустое слово для того, кто с юности приучен понимать его так, как я. Это слово имеет священный смысл, перед которым отступает всякое личное по-

буждение, все должно умолкнуть перед этим одним чувством и уступать ему, пока не исчезнешь в могиле. Таков мой лозунг. Он жесткий, признаюсь, мне под ним мучительнее, чем могу выразить, но я создан, чтобы мучиться". Иной раз он жалуется на непосильность своих обязанностей, на чрезмерно напряженную свою деятельность: вахтпарады, смотры флота, маневры, испытательная стрельба разрывными снарядами, неудачный ход кавказских боев, работы комиссии по крестьянскому делу, очередной вопрос о постройке железной дороги и т. п.—всем надо заняться, всюду поспеть. Подавленность его настроения бросалась в глаза. Она поддерживалась сознанием бессилия справиться с разгулом хищений, злоупотреблений, бесплодной тратой сил и средств. „Я работаю, писал он Фридриху-Вильгельму, чтобы оглушить себя, но сердце будет надрываться, пока я жив". Он замыкался в себе, становился все более резок и порывист, внутренняя напряженность и растерянность сказывались то вспышками неуравновешенного настроения, то жесткой, холодной выдержкой. „На императора, пишет наблюдательная графиня Нессельроде, иногда страшно смотреть, так жестко выражение его лица; а он принимает внезапные решения и действует с непонятной торопливостью". Императора считали склонным к хандре, к ипохондрии. Такая настроенность сложилась рано и проявлялась ярко еще в начале 40-х годов, задолго до явных и грозных проявлений опасного кризиса внутренних сил страны. Неминуемое бан-

кротство „системы“ предощущалось уже тогда. Та же гр. Нессельроде пишет в 1842 году: „Удивительно, как машина продолжает работать. Тупая скорбь царит повсюду, каждый ожидает чего-то и боится опасностей, которые могут притти непредвиденные, чем бы ни грозили“. Неясная, неопределенная тревога держит в напряжении правящие круги с императором во главе. Она неустранима, но подавляется суровым деспотизмом и прикрыта декорацией казенного благополучия и порядка. Поддерживая шатающееся здание всей правительственной силой, Николай чем дальше, тем меньше верил в его прочность.

Конечно, он по-своему твердо разыгрывал свою роль. Но она бывала ему часто не по силам. Даже вся внешняя обстановка императорского быта, которую он разрабатывал с таким, казалось бы, увлечением, часто его утомляла. Замечали, что в отсутствии императрицы он живет гораздо проще, отказываясь от многих удобств. Казарма была бы ему милее дворца, и во дворце он ютился в тесных комнатах нижнего этажа с более чем скромной обстановкой.

А. Н. Бенуа отметил в его строительстве характерную черту. „Раздвоение характера Николая Павловича, пишет Бенуа, как человека и как императора, отразилось и на возводимых им сооружениях: во всех постройках, предназначенных для себя и для своей семьи, видно желание интимности, уюта, удобства и простоты“.

Желание личной жизни, для себя, раздваивало настроение императора. Его считали хорошим семьянином. И он выдерживал по отношению к императрице тон внимательного и сердечного супруга. Но вся обстановка их быта, а, вдобавок, болезненность жены не замедлили расстроить идиллию семейной жизни, связать ее с идеей „долга", придать ей показной характер. С увлечением фрейлиной Варварой Нелидовой Николай долго боролся, но кончил созданием второй семьи. Опорой Клейнмихеля в роли влиятельного временщика, стало то, что он усыновил детей от этой императорской связи.

И в личной, и в официальной жизни Николая много трещин, которые все расширялись. Личная — искажена и подавлена условиями императорства, официальная — условиями исторического момента. Императорская власть создала себе при нем яркую иллюзию всемогущества, но ценой разрыва с живыми силами страны и подавления ее насущных, неотложных потребностей. Энергия власти, парализованная трусливым консерватизмом и опаской потрясения, направилась с вызывающей силой на внешнюю борьбу. И эта борьба была двойственна в своих основах. Она велась и для защиты в общеевропейском масштабе давних начал политического строя, крушение которых подкапывало положение самодержавной империи, и для завоевания России возможно значительного места на путях мирового международного обмена. Николаевская Россия не выдержала испытания этой борьбы. Ее государ-

ственная мощь оказалась мнимой: северный колосс стоял на глиняных ногах. Рушилась вся политическая система Николая I. Оборвалась и его личная жизнь. Он умирал с сознанием, что оставляет сыну тяжелое наследство, что тридцать лет правительственной деятельности завершаются катастрофой. Война разрушила декорацию официальной России. „Она, пишет современник, открыла нам глаза, и вещи представились в настоящем свете: благодеяние, какого тридцатилетний мир и тридцатилетняя тишина доставить нам были не в состоянии". И еще голос современника, раздавшийся под свежим впечатлением смерти императора: „Я никогда не сомневался, что он этого не вынесет. Многое, а можно сказать всего более несчастная война, ускорило подавление могучего организма и привело к смерти человека, который сознал многие свои ошибки. Человеку, каким он был, оставался только выбор: отречение или смерть". Отречение едва ли было мыслимо для Николая. Оставалась смерть. Она избавила его от расчетов с итогами всей жизни 18-го февраля 1855 года. Пошли слухи, что он отравился. Это казалось вероятным. Наспех стали опровергать. Уже 24 марта вышло на 4-х языках (русском, французском, английском и польском) издание II отделения „собственной" канцелярии: „Последние часы жизни императора Николая Первого", а еще раньше, 3-го марта, в Брюсселе — брошюрка, тоже официозная, Поггенполя о том же. Но вопрос о смерти Николая не заглох, и не-

давний, тщательно выполненный пересмотр всех данных за и против его самоубийства дает вывод, что этот вопрос не может считаться разрешенным [1]). В то время, как немецкий биограф Николая, Теодор Шиманн, решительно отвергает подобную мысль, на том, впрочем, только основании, что самоубийство слишком противоречило бы церковно-религиозным убеждениям Николая, Н. С. Штакельберг заключает свой этюд признанием, что оно психологически допустимо, а по данным источников — не может быть ни доказано, ни отвергнуто.

---

[1]) Н. С. Штакельберг, „Загадка смерти Николая I“, „Русское Прошлое“, кн. 1 (1923 г.).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стран.
I. Военно-династическая диктатура	3
II. Казенный национализм	15
III. Противоречия николаевской эпохи	27
IV. Бессилие власти	43
V. Россия и Европа	60
VI. Неизбежная катастрофа	75
VII. Личные итоги	87

Издательство БРОКГАУЗ-ЕФРОН

Ленинград, Прачешный пер., 6. Тел. 553-92.

ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Серия биографических очерков

1. Проф. М. Д. ПРИСЕЛКОВ — Нестор Летописец. Ц. 50 к.
2. В. А. НИКОЛЬСКИЙ — В. И. Суриков. Ц. 50 к.
3. Проф. А. И. ХОМЕНТОВСКАЯ — Кастильоне. Ц. 50 к.
4. Проф. Н. И. КАРЕЕВ — Томас Карлейль. Ц. 50 к.
5. Проф. С. И. ТХОРЖЕВСКИЙ — Степька Разин. Ц. 50 к.
6. Акад. В. П. БУЗЕСКУЛ — Перикл. Ц. 50 к.
7. Проф. Д. П. КОНЧАЛОВСКИЙ — Аннибал. Ц. 50 к.
8. Проф. Д. Н. ЕГОРОВ — Генрих Шлиман. Ц. 50 к.
9. Акад. С. Ф. ПЛАТОНОВ — Иван Грозный. Ц. 60 к.
10. Проф. Г. П. ФЕДОТОВ — Абеляр. Ц. 60 к.
11. Проф. А. Е. ПРЕСНЯКОВ — Александр I. Ц. 75 к.

ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ: „Это — не просто биографии с узко очерченным кругом лиц и событий, это — жизнеописания героев и гениев, великих и замечательных людей, мыслителей, учителей, вождей и слуг народных и т. д. всегда на фоне исторической обстановки в сложном сплетении борьбы классов, международных отношений, если лицо играет роль, как политический или социальный выразитель своей среды, или на фоне трудами многих накопленной энергии, из которой вырастает культурная деятельность ученого художника, поэта и т. д.

Для историков-педагогов „Образы человечества“ — настоящий клад, дающий в руки материал, который с успехом может быть использован в занятиях с учениками профшкол, ищущими рефератной работы“.

(Проф. В. Селинов. „Наша Школа“, № 1—2. 1924).